

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

ИЗБРАННОЕ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1948

БИБЛИОТЕКА
ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1917 — 1947

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ
М О С К В А

А 901

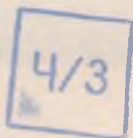
НИКОЛАЙ АСЕЕВ

ИЗБРАННОЕ

Профессиональный союз
РСХМ СССР

Заводской комитет

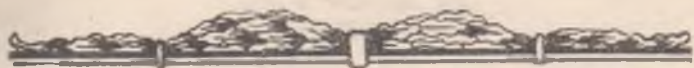
завода № 9



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1948



ВРЕМЯ ЛУЧШИХ



КУМАЧ

Красные зори,
красный восход,
красные речи
у красных ворот,
и красный — на площади Красной
народ.

У нас пирогами
изба красна,
у нас над лугами
горит весна.

И красный кумач
на клиньях рубах,
и сходим с ума
о красных губах.

И в красном лесу
бродит красный зверь...
И в эту красу
прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
согнали в ряды

мы красные в небо
врубили следы.

За дулами дула,
за рядом ряд, —
и полымем сдуло
царей и царят.

Не прежнюю спесью
наш разум строг,
но новые песни
все — с красных строк.

Гляди ж, дозирая,
веков Калита:
вся площадь до края
огнем налита!

Краснейте же, зори,
закат и восход,
краснейте же, души,
у Красных ворот,

красуйся над миром,
мой красный народ!

1917

ПЕРВОМАЙСКИЙ ГИМН

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Осыпаны снегами,
окутаны ночами,
встречались мы с врагами
грозящими очами.

Но встал свободы вестник,
подобный вешним водам,
винтами узких лестниц
взлетевший по заводам.

От слов его синели
и плавились металлы,
и ало пламенели
рабочие кварталы.

Его напевы проще,
чем капля снеговая,
но он запел — и площадь
замолкла, как пустая:

«Рабочие России,
мы жизнь свою сломаем,
но будет мир красивей,
цветущий первым маем!

На серый мрамор крылец,
на желтый жир паркета!
Для нас теперь раскрылись
все пять объятий света.

Разрушим смерть и казни,
сорвем клыки рогаток,
мы правим правды праздник
над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,
когда идет свобода...
Он вырван, черный браунинг
из рук врагов народа.

И выбит в небе дней шаг,
и нас сдержать не могут:
везде сердца беднейших
ударили тревогу...

Над гулом трудных будней
железное терпенье, —
полней и многотрудней
машин шипящих пеня.

Греми ж, земля глухая,
заводов дым вздымая,
цвети, благоухая,
рабочий праздник мая!»

1918

С НЕБА ПОЛУДЕННОГО

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат, —
сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем,
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного
армия — вперед!

1923

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

Памяти павших

Вступление

Темен Баку. Дымен Баку.
Отчаянье. Ночь. Нефть.
Решетка у лба и пуля в боку —
для тех, кто не скрыл гнев.
Фонтаном встает восемнадцатый год,
беспомощен и суров.
Британская Индия маршем шлет
своих офицеров.
Им нефть нужна, им нужен хлопок,
а хлыст и поход — их страсть...
Но пуше хочет английский сапог
советскую смять власть.
Тарантул зол, верблюды зобат.
Шакала шкура — сера...
По их путям идут в Ашхабад
английские офицера.
Москва далека, Кавказ высок...
Не им позволенья просить;
они хотят кара-кумский песок
возделать и оросить.

За тем они и пришли сюда,
чтоб, чуть шевельнув бровь,
узнать, пресна ли у моря вода,
и солона ль кровь?
Полковник спит, и спит капитан,
уснул генерал-старик;
им снится, как плотно давит пята
раба встающего лик.
Спокойно спи, офицер, засыпай,
размеренно, ровно дыши.
Тебя охраняет твой раб — сипай —
и здесь в закаспийской глуши!
А в черном Баку, в дымном Баку —
отчаянье. Ночь. Нефть.
Винтовка у дба и пуля в боку —
для тех, кто не скрыл гнев.
Не спи, товарищ, не спи, подожди,
глазами буравь мрак.
Зачем не с тобою твои вожди,
когда подступил враг?
Они за решеткой заключены.
Их мало. Их двадцать шесть.
И ночь не расколет своей тишины
в Москву донести весть.
Москва далека, высок Кавказ,
на море надежда плоха...
Но от советской власти отказ
врагам ее не услышать!

Путь

Белая рука меньшевика
мягко стелет, только жестко спать;
у эсера поступь широка,
да привык шагать он ею вспять!
Вот и нет советского следа,
Вот и власть рабочих — не в чести,

вот Баку и надо покидать,
убегая, двадцати шести.
Отчего ж не встанет в грозный ряд,
отчего винтовок не сожмет?
Он обманут, пролетариат,
залил мысли меньшевистский мед!
Пароход от берега бежал,
уходил во мглу Азербайджан.
Далеки на Астрахань пути,
топлива нехватит им дойти.
Прямо — через море — Красноводск.
Лица у рабочих там, как воск.
Эй, матрос! Не дело — сходни класть
к пристани, где нынче белых власть.
Не пройдет сквозь сети осетер,
моря хищник, злобен и хитер:
не ступай на сходни, большевик,
не уйдешь отсюда ты в живых!
Нет! Ступили! Поднялись! Идут!
От голов не отвести беду.
Не минует вражеская месть
лучших, самых сильных двадцать шесть.

Смерть

Телеграф в Красноводске стучит... стучит...
«Передать... в эту ночь... от тюрьмы...
ключи...

Комиссаров взять... погрузить в вагон...
«Превал» — «Ахча-Куйма»... Перегон»...
В эту ночь весь край в сон погружен,
но не спит капитан Реджинальд Тиг Джонс.
В окнах английской миссии блещет свет,
в канцелярии миссии ждут ответ.
И не спят шакалы в песках степей,
слыша жалобный перезвон цепей:
их клыки стучат, их глаза горят,
шерсть встает у них, слыша залпов ряд.

Ничего не видать в эту злую ночь.
Безоружным никто не придет помочь.
Но мы знаем: не дрогнет голос ничей,
о пощаде не будет молить палачей.
Телеграф в Ашхабаде стучит... стучит...
Загораются новой зари лучи.
Капитан Тиг Джонс тушит свет:
в канцелярии миссии есть ответ.

Кто предал

Кто по тебе не горевал,
Ахча-Куймынский перевал?
Здесь каждый взор суров и строг:
здесь цвет коммуны в землю лег.
Он черные пески твои,
пустыня, кровью напоил.
И не стереть с лица румян,
и в землю в страхе не зарыться
тому, кем предан Шаумян,
тому, кем предан Джапаридзе;
кто затаился, кто молчал,
кто вас обрек на мрак и гибель,
кто у тупого палача
из рук оружие не выбил.
Тому, кто знал, что в этой тьме,
что в этой ночи может крыться,
кто в это время мог и смел
с английской миссией мириться!
Вам нет имен! Вам нет имен!
И нет для вас рукопожатья.
Ваш общий список заклеен
брезгливым словом: «Соглашатель!»
Но не стереть с лица румян
и от проклятия не скрыться
тому, кем предан Шаумян,
тому, кем предан Джапаридзе.

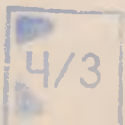
Кто убил

Ты гордишься военной выправкой,
капитан Реджинальд Тиг Джонс!
Ты забыл, как, все слезы выплакав,
каменели глаза их жен!
Ты теперь красуешься в Лондоне,
ты — на первых занят ролях.
Нет надежней и верноподданней
офицера у короля!
Беспокоиться нет тебе поводов;
ты надежной покрыт рукой:
все орудия мощных дредноутов
охраняют твой покой.
Ты скрестил руки холеные,
ты пригубил полный бокал.
Вспомни: ночью кровью соленою
также вымочил пасть шакал.
Но не все королевской оперы
украшать тебе — пурпур лож,
и когда-нибудь смуглые докеры
приведут тебя в пот и дрожь.
И тогда, в последнем отчаянье,
вскинув браунинг у виска,
ты поймешь глухое молчание
черной степи о павших в песках.

Заключение

Эта песня писана в вашу честь:
эта песня о вас, двадцать шесть.
Эта слава, знаю, еще раба,
это — голос проснувшегося раба.
Но ничей сапог не наступит вновь
на пролившуюся вашу кровь.
И в родном Баку вы погребены,
ваши кости — гранит свободной страны.

Завод № 2
22/4



И мой вольный стих вашу смерть хранит,
как венок, ложась на ее гранит.
Боль и гнев круша, ночь и смерть круша,
ваш последний шаг все звенит в ушах.
Той стране не пасть, той стране цвести,
где могила есть двадцати шести.

1923

СВЕРДЛОВСКАЯ БУРЯ

1

Я лирик по складу своей души,
по самой строчечной сути.
Казалось бы, просто: сиди и пиши,
за лирику кто же осудит?
Так нет, нетерпенье взманило в даль,
толкнуло к морю, к прибою.
Шумела и пенилась лирика: «Дай
стеной мне встать голубою!»
Она обнимала, рвала о корни,
в коленях стала пошатывать
и с места гнала, и вела верней
любого колонновожатого.
Как на море буря, мачтой маша,
до слез начинает заклестывать,
так — лирика это или душа —
бьет в борт человеческого остова.

2

Нас бури несли, или снилось во сне?
Давно не видали их мы.
Казалось: лишь горы начнут яснеть, —
и взмоют прибоем рифмы.
Доехал до моря, — но море не то.

Писать ли портрет с такого?
Ни пены, ни бури: молочных цветов;
в туманы берег окован.
Постыл и невесел курортный режим,
к таким приучает рокам,
что будто от них мы слегли и лежим
и на ноги встать не можем.
Меж пухлых телес застревает нога.
Киты — по салу и крови...
Таких вот не смог продырявить наган,
задохся в верхнем покрове.

3

От трестовских спин и от спецовских жен
все море жиром замаслено.
А может, я просто жарой раздражен,
взвожу на море напраслину.
Но нет: и оно, наморщив гладь,
играя с солнцем в пятнашки,
нет-нет, да и вздрогнет; нет-нет, да и — глядь
с тоской на вздутые ляжки.
И солнца академический лик,
скользя по небесной сини,
нет-нет, да и вспыхнет;
и влажный двойник
в воде его голову вскинет.
А впрочем что же, курорт — как курорт,
в лазуревой хмари дымок,
и я — ни капли не прокурор,
и пляж — не скамья подсудимых.

Но вот, чугунясь загаром плеча,
нагретым мускулом двигая,
над шрифтом убористых строк Ильича —
фигура чья-то над книгою.

Я лежмя лежал и не знал, что — гроза,
я встать и не думал вовсе. . .
И вдруг черкнули синью глаза:
упорист зрачок в Свердловске.
Ага! Загудел над снастями шторм,
но с виду все было спокойно,
и мы говорили про МОПР и про корм,
про колониальные войны.
Потсм посмотрели друг другу в глаза,
и дрожь от земли до неба
стрельнула, — и ходу не стало назад,
и нэп как будто и не был.

5

Он слово сронил, — и пошла колебать
волна за волною слова. . .
И в слове — не удаль и не похвальба, —
пальба была в каждом слове.
И гребнями взмылился белый отряд,
и в сердце — ветра колотье,
И мы ночевали три ночи подряд,
друг друга грея в болоте.
От стужи рассветного неба дрожа,
сидели мы месяца смену;
камыш мы ломали замест фуража
и пили болотную пену.
И дыбил коня на опушке казак,
в трясине нас выискать сиясь,
и звезды у нас грохотали в глазах,
когда они с неба катились.

6

Кто мог бы понять, что меж этих толстух
(в которых я рифмой возился)
с грозовых просторов рязанский пастух
стрелой громовой вонзился?

Что, голову на руки облокотив,
совсем поблизости, рядом,
весь пляж и весь мир партийный актив
грозовым меряет взглядом?
Кто мог бы узнать, что не из берегов
выходит море рябое,
что он, перешедший через Перекоп,
сигнал — крутого прибоя?
И я увидал в расступившихся днях —
глазах его грозных и синих —
проросший сквозь нэп строевой молодняк,
не только — осенний осинник.

И вот — он свердловцем, а я рифмачом,
И моря нежна позолота,
но мы не забудем его нипочем —
воронежского болота.
Мы с ним не на пляже, мы с ним на ветру
и дали — тревожны и сини. . .
И я — запевало, а он — политрук,
лежим на болотной трясине,
но мы не сдадимся на милость врага,
пощады его не спросим.
В лицо нам — звезда, светла и строга,
взошла и глядит из-за просек.
И если так надо, под серым дождем, —
как день ни суров и ни труден, —
и ночи, и годы, и дольше прождем,
пока не избудем буден.

8

И, только прижавшись к плечу плечом,
друг друга обмерив глазом,
над верным вождем, над Ильичем,
мы вспыхнем и вспомним разом:

как на море буря, мачтой маша,
до слез начинает захлестывать,
как — лирика это или душа —
бьет в борт человеческого остова.
И море, откликнувшись на зов,
плеснет, седо и клокато,
взгремит от самых своих низов
до самых крутых накатов,
и в клочья взорвется спец-тишина,
игравшая в чет и нечет,
и в молнии снова земля зажжена,
и буря и рвет и мечет.

1924

РЕКВИЕМ

Если день смерк,
если звук смолк,
все же бегут вверх
соки сосновых смол.

С горем наперевес,
горло бедой сжав,
фабрик и деревень
заговори шаг:

— Тяжек и глух гроб,
скован и смят смех,
низко пригнуть смогло
горе к земле всех.

Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами родин,
Жизнь, отмсти за него.

С горем наперевес,
зубы бедой сжав,
фабрик и деревень
ширься, гуди, шаг:

— Стой, спекулянт-смерть,
хриплый твой вой лжив,
нашего дня не смей
трогать: он весь жив.

Ближе плечом к плечу!
Нашей ли широте,
пасынкам ли лачуг
жаться, осиротев? . .

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, тугой шаг:

— Станем на караул,
чтоб не взошли враги
на самую
дорогую
из наших могил.

Если день смерк,
если смех смолк,
слушайте ход вверх
жизнью гонимых смол.

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, сплошной шаг.

1924

РУССКАЯ СКАЗКА

I

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
— Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаеть другие зори.

II

Люди чинно живут на свете
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей.

III

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
— Мне слова твои не по мерке
и не в пору упрек твой льстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

IV

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?
Люди больше меня тоскуют,
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

V

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на каменья;
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

VI

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет.
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,
что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

VII

Есть у многих рваные раны,
да своя болит на погоду,
есть на свете разные страны,
да от той, что узнал, — нет ходу.
Если все их смешаю в кучу,
То и то тебе не наскучу.

VIII

Отлянись на страну большую, —
полоснет пестротой по глазу.
Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу, —
от ее глубокого вала
и меня кипеть подымало.

IX

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом,
в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом;
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

X

Вот идет верблюд, колыхаем
бурханами песен плачевных,
и на нем, клонясь малахаем,
выплывает дикий кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

XI

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Керемети,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то сот за пять —
пробирается легкий лапоть.

XII

Вот из дымного Дагестана,
избочась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чечни,
ликом врезался в ветер встречный.

XIII

А еще в глухом отдаленьи,
где морская глыба посинела,
тупотят копыта оленье
под луною окоченелой:
медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

XIV

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга,
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

XV

Он лежит под стеною кремлевской,
невелик и негрозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

XVI

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчевой,
но до льдов, до снежного наста
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
Говорят о его могиле.

XVII

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое.
не проси от меня покоя.

XVIII

Знать, недаром на свете живу я.
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше, —
ты ее, пригорюнясь, слушай.

1924

ГОРОДУ

1

Это имя — как гром и как град:
Петербург, Петроград, Ленинград.
Не царей, не их слуг, не их шлюх
в этом городе слушай, мой слух.
И не повесть дворцовых убийств
на зрачках нависай и клубись.
Не страшны и молчат для меня
завитые копыта коня.
И оттуда, где спит равелин,
засияв, меня дни увели.
Вижу: времени вскрикнувший в лад
светлый город болот и баллад:
по торцам прогремевший сапог,
закипающий говор эпох;
им в упор затеваемый спор:
с перезвоном серебряных шпор
и тревожною ранью — людей,
онемелых у очередей.

2

Товарищи! Свежей моряной
подернут широкий залив.
Товарищи! Вымпел багряный

трепещет, сердца опалив.
Товарищи! Долгие мили
тяжелой соленой воды
давно с нас слизали и смыли
последнего боя следы.
Но память — куда ее денешь? —
те гордые ночи хранит,
как бился тараном Юденич
о серый суровый гранит.
И вспомнив, — тревожно и споро
и радостно биться сердцам, —
как, борт повернувши, «Аврора»
сверкнула зрачком по дворцам
и после — как вьюга шутила,
снега на висок зачесав,
как горлом стуженым Путилов
кричал о последних часах...
Об этом неласковом годе
запомнив на тысячу лет,
он, вижу, молчит и уходит
в сереющий утренний свет.
Товарищи! Крепче за локти,
о нем еще память свежа.
Глядите, как двинулся к Охте;
смотрите, чтоб он не сбежал,
блистательный город Союза,
чей век начинался с него,
соча свои воды сквозь шлюзы,
сцепивши мосты над Невой.

3'

Он на дали сквозные мастак,
он построен на ровных местах.
Но забыт и никем не воспет
зоровой и вечерний проспект.
Он оставлен той ночью и, полон
корабельных зеленых колонн,

он оставлен навеки тайком
пробавляться солдатским пайком.
Но не спится ему по утрам
под давящей ладонью Петра.
И лодейною улицей в док
пролетает тревожный гудок;
и когда прибывает Нева,
он бормочет глухие слова.
Он снимается с места; и вот
он шумит, он живет, он плывет.
И его уже нету... Лишь гул
одичалой воды доплеснул;
лишь от центра на острова
бьется грудью с гранитом трава.



Видишь: дым хвостами задран,
скручен прядью на виске.
То балтийская эскадра
по твоей дымит тоске.
Военморы! Полный ход!
Глубже, глубже, глубже лот.
Вы ведь городу большому —
мощь, защита и оплот.
По морям, морям, морям,
нынче здесь, а завтра там —
ты им старшим братом будешь,
всем восставшим городам!
Кораблей военных контур,
расстилая низко дым,
вновь скользит по горизонту.
Ленинград! Следи за ними:
обновив и век т нмя,
вновь ты станешь молодым!

1924

ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Время, время, не твое ли зверство
не дает ни сил, ни дней сбегать?
Умираем от разрыва сердца,
чуть прервав, едва закончив речь...
Умираем не от слезной муки,
не от давней раны пулевой,
умираем, напрягая руки,
над огромной ширью полевой.
Как поднять ее с другими вровень?
Как подставить ей свое плечо,
если путь ее биемьем крови,
а не медом с молоком течет?
Соль и уголь залегли пластами...
Как их слить, в одно соединив,
чтоб сошлись навек в одном составе
лягг заводов с пошелестом нив?
Сердцу тяжело. Сердце ведь не камень:
напряги — и дрогнет вперевой
под кулями, рельсами, станками,
под своей и общею судьбой!
Но не рабским, подневольным пленом
вызван к жизни этот тяжкий труд;
нынче, знаю, встанет мира пленум

на тобою вызванном ветру!..
Над огромным, неподвижным краем
время — лучшим сердце утомлять..
Умираем? Нет, не умираем, —
порохом идем в тебя, земля!

1926

НОВАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

Октября кровавые знамена,
пулями прошитые насквозь,
разве вспомнишь всех вас поименно,
отстоявших зори над Москвой. . .
Разве перечтешь вас, легших в славе,
разве соберешь в одном лице,
танками растоптанные навек,
взятые мортирой на прицел. . .
Расстилаясь к северу и к югу,
в хмурый вечер, в смерзшуюся рань,
прорывала смерть, и мрак, и выюгу, —
сердца человеческого ткань.
Пели пули, били пулеметы,
ветер упирал ладони в грудь,
век, казалось, от тупой ломоты
взгляду и костям не отдохнуть.
Дни и вещи плыли и кружились,
все неслоьсь вокруг, как мрак и бред,
но, растягивая сухожилья,
вы сдержали мир на Октябре.
Он взмывал над вами песней вольной,
неба молодого голубей,
он вставал за вами, облик Смольный, —

вами взятой воли колыбель.
В злую глушь, в таежные селенья,
с вышки Октября сторожевой
подавал овой свежий голос Ленин,
всем понятный, четкий и живой.
И опять, наежившись штыками,
напрягая сумрачный зрачок,
в тыл врагу вздымался каждый камень,
каждый сердца бившийся клочок.
И на каждом лесовом завале,
обрывая трубки у гранат,
вновь и вновь они голосовали
за тебя, свободная страна!
Это их суровые колонны
нынче вышли на сплошной парад,
это ихней кровью раскаленной
пышет бантов красная кора.
Это им, о прошлом не жалея,
птицей в сердце бился мир иной,
им, кто лег оружием мавзолея, —
новою кремлевскою стеной.
Октября кровавые знамена,
пулями прошитые насквозь,
разве вспомнишь всех вас поименно,
отстоявших зори над Москвой?

СЕМНАДЦАТЫЙ ВСТАЕТ

1

Все изменяется, уходит, устает...
Есть слух про утомляемость металлов...
Тишает ветер, и сердце глуше бьет,
какую б бурю раньше ни взметало...
А если сам ты общей связи часть,
где жизнь и смерть — одной природы звенья,
и все течет, летит, струится, мчась,
и вечны только сами измененья;
и если каждый день в борьбе, в бою
окутывает сердце снег и иней,
и надобно всю искренность свою,
чтоб край холодный раскачать и сдвинуть!

2

Не надо приурочивать к тому,
что вся земля от холода гудела,
что все костры замглилися в дыму,
когда его охладевало тело.
Стихия есть стихия. Для людей
дан свой закон общественных явлений,
но все-таки не вспомнишь зим лютей,
чем та зима, когда скончался Ленин.

Температура, может быть, была
не ниже той, какой все льдины сбиты,
но за сердце жестокостью брала
холодная бессмысленность обиды.

3

Тогда-то ты, как с белого листа,
глотнувши жизнь, узнал в рассвете вечер,
и мир, дрожа, перед тобой предстал
единством всех своих противоречий!
И ты сказал: нет, это не конец.
Какой бы ни была зимы жестокость, —
здесь всем пример, проверка, образец
на жизненность и жизнестойкость!

4

Цитировалось в книгах и в речах,
и в частных спорах вспыхивало это —
о точке той, где б приложить рычаг,
чтоб сдвинуть мир, по слову Архимеда.
А точки двигались вокруг, снуя,
в поту, в пыли, в забитости, в заботе:
пастух, батрак, поденщица, швея
и слесари сходились на заводе.
Как их собрать? Как их объединить
против веков слежалога укладца?
Как им вложить тончайшей мысли нить —
оружьем — в мозг воспрянувшего класса!

5

И Ленин начал. С дальних дат и мест
весь жар души из сердца к устью выскреб,
и зашумел второй партийный съезд,
и полетели золотые «Искры»...
Как мало лет! Как время велико!

Навек предел был прошлому положен, —
его тогда уж звали «Стариком».

А он был всех живее и моложе...

Вот где была проложена черта
(непримиримой будущности зрячесть),
которая потом легла у рта,
чуть горькою морщиной обозначась.

6

Он знал, что кроме нет других опор,
как слить ручьи в одну большую реку,
с тех пор, как первый каменный топор
путь проложил к свободе человеку.
С тех пор, как первый взмах и первый сдвиг
труда почетом увенчали имя,
нельзя судьбу обдумывать за них, —
навек судьбою надо слиться с ними.
Он знал, как, в мысль далеко прошагав,
вернуться к тем, чьи мысли в снах томятся,
чтоб уперлось подножье рычага
в единством цели движимую массу.

7

Немало лет прошло с тех давних пор...
состав времен и недругов менялся.

Но все ровней партийный полный сбор
на ленинскую линию равнялся.

Но если сердце каждый день в бою, —
окутано то в серый дождь, то в иней —
всю пламенность, всю искренность свою
потратило, чтоб край холодный сдвинуть!

8

Теперь вернемся снова к нашим дням,
к семнадцатому подойдем вплотную;
увидев въявь, что завещал он нам,

нас всех соединив в семью родную.
Семнадцатый откроется, шумя,
и — буре рук над бурей дел взорваться:
вся ленинская прочная семья
поднимется для пламенных овацій.
И долго гром не будет иссякать,
катя свои валы от ряда к ряду,
и долго, долго секретарь Цека
начать не сможет своего доклада.

9

Кого они приветствуют? —

Свой строй,
свой труд, борьбу свою, свои успехи,
ту складку, что у губ мелькнет порой,
что стала родовой в партийном цехе.
Отсюда вот, из этих вот рядов,
стоимиллионный вызывая отзыв,
гремят рукоплесканья городов,
зажиточная жизнь гремит колхозов.
И вновь, и вновь, сердечны и близки,
взрываются горячие ладоши —
о новизне рожденных чувств людских,
о новизне возвращенной молодежи.

10

Мы выдержали бури не кренясь,
мы не покрылись плесенными снами...
Какая боль, что умер он при нас!
Какое счастье, что живет он с нами!
И вы, враги, не напрягайте глаз,
наш крепкий рост сломить не угрожайте, —
жив, есть, ведет нас и живет меж нас
его пути и дела продолжатель,

Все изменяется, уходит, устает.
Но это сердце — тверже льда и стали.
Вот почему семнадцатый встает,
как на ноги мы всей страну встали!

1934

ДНЕПР

Лета, летите,
зимы, неситесь,
бейся о берег,
злой ненасытец.
Здесь по излукам,
здесь по порогам
плылось когда-то
в синь запорогам.
Чубы за ухо,
вусы за плечи,
рев Ненасыти
крыть было нечем.
Разве что — песня,
разве что — удаль
тенью вставала
из гула и гуда.
Только и песню
волны топили
в зареве радуг,
в мареве пыли.
Дням отошедшим
не дано веры;
мерят очками
синь инженеры;

ДНИПРОБУД

Когда Днепрострой достроят
над влажной рябью и дрожью,
и станет Москва сестрою
Великого Запорожья;
Когда зажужжат комбайны,
и ток побежит исправно
туда, где морды кабаньи
высовывались из плавни;
когда заревут турбины,
покрывши Днепра горбины,
и вскинут и снизят грузы
тройные ладони шлюза;
когда — еще только тени —
каркас еще лишь и остов
алюминиевый и литейный
достигнут полного роста,
тогда — разглядишь, потомок,
на свет человеческого чуда:
где в каменник древних потемок
врыт памятник Днипробуда.
Плотина, плотина, плотина,
тебя бы нам лишь дожидаться:
одна уже ты оплатила

тревоги войны гражданской.
Бычки, говорите? Бряд ли!
И слон перед ними — ребенком.
Днепровские желтые патлы
бетонной чешут гребенкой.
Светись же, сияй и порскай,
реальная и нагая,
всей силой волны днепровской
нам дальше плыть помогая.

Неуемной силой дерриков,
визгом сверла Сандерсона
правый берег левым берегом
заинтересован.
Отойди, беги, пади!
Здесь зевак не любят,
птицей-Рок летят бадьи
над днепровской глубиью.

Здесь ложится вглубь бетон,
плотно утрамбован
человеческой пятой
Тулы и Тамбова.

Здесь живут, поют, гремят, —
не по нраву — смойся! —
на буксир берут ребят
песни комсомольцев:

«Идет страна-ударница,
кругом — враги;
не отставать, не стариться
ей помощи.
Заводами и штольнями —
громом семьей —
давайте быть достойными

движения ее.

Пусть каждая профессия
и каждый вид труда
поднимет грозно-весело
отчетные года.

Чтоб враз была развеяна
вредительская мразь,
чтоб крепких рук конвейером
добыча поднялась.

Идет страна-ударница,
шаги — года,
не отставать, не стариться
нигде и никогда!»

Неуемной силой дерриков,
визгом сверла Сандерсона
левый берег правым берегом
заинтересован.

Кто ушел, уплыл, урвал, —
самостроем грейся, —
не мешай вращать штурвал
мирового рейса.

Загораживала путь
нам скала Дурная,
спину ей пришлось свернуть,
взрывами карная.

Так и слизь глухих глубин
будет в дым расплющена;
первой из всех турбин
«Комсомолка» пущена!

*

Два Днепра текут пред нами:
тот, которым плыл Перун;
и меж нашими меж днями —
тот, который льнет к перу.
Без перунов, без бурунов, —

не в нужду, не в хвастовство —
льющей ток в электроструны
нашей воли торжество —
до плотины Днипростана,
до высокой городьбы,
непреклонно, непрестанно
шагом классовой борьбы!

1933

УЛИЧНЫЕ СТИХИ

Из-за грохотанья и рева
на углу Тверской и Огарева
продираясь к небесам с трудом,
подрастает малолетний дом.
В колыбель Москвы при мне положен,
кожицей кирпичною багрясь,
этот дом уже меня моложе —
пропитавшегося в пыль и грязь.
В этом нету никаких трагедий;
это можно написать в анкете.
Встану на цыпочки — вытянусь —
в завтрашнюю действительность!
Из-под грохотанья и рева
узок переулок Огарева.
И леса, леса, леса, леса...
Свежие, веселые тесины;
весь квартал вприсядку заплясал
под пилы зудящей звук осиный.
Это, — с облаками заиграв, —
вырастает новый телеграф.
Из московских каменных реликвий
нет такой заманчивой другой;
для меня он самый развеликий,

самый близкий, самый дорогой.
Оглянись же на него, прохожий,
на ничто еще и непохожий,
будущего напряженный рост,
будущего неизвестный остров,
будущего мыслимый лишь остров:
как упрям он, как он прям и прост, —
будущих видений и судеб
будущий высокий лицедей!
Мы уйдем с тобой отсюда вместе...
Но, уже родясь, играют вести,
вести из неведомой поры,
той, — в которой чья-то жизнь иная
взглянет на него, припоминая
наши пилы, наши топоры!

1926

ЧУДЕСА

Действительно:

это нельзя описать
и вымолвить трудно,
и трудно представить:

растут корпуса,
как во сне чудеса
растут, —

но в реальной,
самделишной яви.

Ты знаешь,

что это не чудо.

Ты сам

своими делами,

руками,

глазами

притронулся

к этим крутым чудесам:

ты видел их

вровень с землей,

под лесами, ⁴

ты видел,

как в небо

взвивалась стрела,

как тешутся бревна,
 стругаются планки,
ты видел,
 как кони
 грызут удила,
как месится цемент,
 как фыркают танки,
как аэропланы
 скользят на крыле
и четырехмоторная
 движется тень их
надёжной защитой
 советской земле.

И все это
 требует
 денег и денег.
Банкиры,
 засев
 по квартирам уютным,
не очень-то
 взаимы охотно дают нам.

Они бы
 тогда отслюнили нам займы,
когда,
 передав из полы в полу,
мы б земли свои
 отдали им внаймы,
и сами б
 склонились
 к ним в кабалу.

Но сами,
 храня свои земли
 и реки,
мы денег
 своею братвой
 наскребли

и сами
 построили
 блуминг и крекинг
на наши
 советские рубли.
Днепровской плотины
 широк полукруг...
Уже выжимают
 днепровские шлюзы
ладонями
 влажных,
 сияющих рук
На них оседающие грузы.
Уже отвечает
 заботам земля,
разливом пшеницы
 в колхозных массивах,
уже
 нами выпущены
 на поля
четыреста тысяч
 тракторных сивок.
Уже
 по буржуям бежит холодок,
и бас
 никакой не покроет
 шляпинский,
когда
 за гудком поднимают гудок
басы:
 Сталинградский,
 Харьковский,
 Челябинский.
Мы сложных машин
 разгадали секрет.
Мы техники пользу
 на ус намотали,

и корпус страны
зашумел, разогрет,
на нефти,
железе,
угле и металле.
Мы рук за подачками
не суем,
наследства ж
забыли оставить нам предки.
Мы сами себе
отпустим заем
первого года
второй пятилетки.
Неужто
цепляться
за толстых
за нянь?
Неужто
канючить
с ручкой по людям?
«Сами себе
сумеем занять —
сами себе
и выплачивать будем!»
Мы прочно
решили
стоять на своем,
чтоб нам,
а не толстым
сиять напоследки.
Вот для чего
мы даем —
заем
первого года
второй пятилетки.
Товарищ!
Это сказал не я, —

не я,
советский поэт, —
единица, —
на этом
страны трудовая семья
в общем гуле
объединится.

1930

ГРЕМИТ ДИМИТРОВ

Величие партии
 неизмеримо,
а слава ее долга...
В рабочих предместьях
 Берлина и Рима
и в облике трех болгар.
Родясь из заводских
 собраний подпольных, —
(Коммуны полотнище!
 Рдей!), —
каких она выдвигает
 отборных,
особенно ценных людей!
Над ними
 веревка танцует, намылясь,
и низок
 лоб палача...
Но нет!
 Не сдаются такие на милость
врагов,
 победивших на час.
Смотрите еще раз,
 как, в злобе немея,

прически в страхе
топорща метлой,
топча в нетерпении на месте,
пигмеи
грозят великанову горлу
петлей!
Но горло гремит,
и от режущих реплик
дрожит крючоктворство
на каждом шагу,
и ветер
сюртук председателя треплет
и тень лжесвидетеля
гнется в дугу.
Но голос гремит,
разметая нелепицу
фальшивых улик
и предписанных клятв,
и буря грохочет
по древнему Лейпцигу,
и листья судебного акта
летят;
и клятвопреступники
в страхе шатаются,
и — маленький —
в землю по талию врос,
за стол прокурор
удержаться пытается,
когда начинает
Димитров допрос.
И точны слова,
и сказать на них нечего.
Он бьет ими в гушу
убийц и лжецов.
Какой правдивостью
светится речь его!
Какою энергией
дышит лицо!

Кто здесь обвиняемый?
 Кто уличенный?
 Кому от стыда здесь
 и страха
 замлеть?
 И мир аплодирует,
 им увлеченный,
 гордясь,
 что такие живут на земле!
 Когда,
 протянувши лапу корявую,
 бандиты и воры
 присягу дают,
 когда
 провокаторы
 грязной оравую
 бормочут бессмысленно
 басню свою,
 когда, от усилий
 потный и розовенький,
 фашизм обеляющий,
 прокурор
 пытается
 обосновать на лозунге
 «Бей наци!»
 легенду про «красный террор», —
 Димитров
 гремит против этого вздора,
 и хохот
 до хор доходит резьбы:
 — «Мне вовсе не надо
 убить прокурора,
 Хоть я и хочу
 обвиненье разбить!»
 Откуда
 под сводов тюремных сумрак,

сквозь прутья,
 сквозь цепи,
 сквозь рой клеветы
доходит к нему
 это чувство юмора,
величия
 ясности,
 прямоты?!

Откуда?
 — отовсюду:
 из Праги,
 из Рима,
от всех широт
 и от всех долгот.
Величие партии
 неизмеримо,
а славы ее
 не оболгут!
Малейшую слабость
 из сердца вытравь
и правды
 единственной в мире держись.
Ты слышишь:
 гремит товарищ Димитров
за право
 на общее счастье и жизнь!

1934

БОЛЬШОЙ ЧИТАТЕЛЬ

1

Все, чем я дышу,
все, что я пишу
кстати или некстати,
волосы теребя, —
все это о тебе,
все это для тебя,
друг мой, Большой читатель.
Ближе — меж нас, меж двух —
больше не встанет друг,
и — ни родни, ни брата...
Волосы теребя,
ничего мне от тебя
ни укрывать, ни прятать.
Прислушайся ж ко всему,
голосу моему, —
не к вылущенной цитате!
К опыту моей седины
пыл свой присоедини,
друг мой, Большой читатель.

2

Страна в родовых напрягается схватках,
и ей, изю всех молодых матерей,
во всех ее порах — в Калугах и Вятках —

пора горячий пот утереть.
Страна в родовых сотрясается муках,
и только то ей подсобно в речи —
(и больше ни слова, и громче ни звука) —
что может тяжесть ее облегчить.

3

Могуч и красив
Урала массив, —
в два мира уперся пятою, —
улегся, ленив,
ветра заслонив
тяжелой своей высотой.
И с его высот и распадин
открывается вид неогляден.

4

От избы — сто верст изба,
от руки — сто дней рука;
но встает из снов Кузбасс —
малолетний великан:
зарыт в снегах по пояс,
стоит молотобоец.
Голос Кузбасса —
сумрачный бас —
молотом — бац! —
и гора начнет колебаться.

5

Елок игла
и сосен кора,
меж сосен и елок
легла Ангара.
Вдвое и втрое
перед звонкой сестрой

может отстать,
уступив, Днепрострой.
И там, где шныряют белки юркие,
там — база черной металлургии.

6

Стой и глаза кругли,
какие в Сибири угли:
без зольности, сернистости, —
глядите сами,
как в ярости, в неистовстве
клокочет пламя.
Сравняться в силе
не с кем им,
проделан опыт:
скорее, чем донецкими,
снега растопит.

7

А дальше, где синь
и где сопок груды,
мерцает цинк
и цветные руды.
И каждым дальним уголком
быть должен занят Геолком,
так как там,
где цепи бреччали,
повесть камня
еще лишь вначале.
И нету путей,
и нету дорог
шагнуть стране
за Уральский порог.
Нет, есть дороги —
до недотроги!
Начало есть крутому сдвигу.

Большой читатель — впереди.
Возьми Сибирь — большую книгу —
и твердым ногтем прочерти
ее дороги и пути.

1931

ВЕСНА СТРАНЫ

Весна страны на полный ход,
на полный оборот
у самых северных широт,
у черносливных вод!
Везде светла, напряжена,
упорна и дружна
и глубина и вышина —
советская весна.
Везде, где влажный грунт размяк,
где сыро и черно,
ложится вглубь во весь размах
тяжелое зерно, —
зерно кубанки яровой,
зерно тугих идей,
зерно запашки мировой,
величия людей;
Зерно отборных, крупных лет,
селекция времен;
зерно, которым движет свет
развернутых знамен;
зерно взволнованных глубин,
оправданных страстей;
зерно отстроенных турбин,
проложенных путей.

Оно охвачено жарой
разымчивых лучей,
оно влажнеет кожурой
от почвенных ключей;
оно — зеленый фейерверк,
колхозов ранний день;
оно всю землю тянет вверх,
на новую ступень.
Неповторим, нерастворим,
мир движется вперед,
весна страны владеет им
на полный разворот!
И ты, мой стих, не повторись
и новое отметить,
как выезжает тракторист
под солнечную медь.
Ведет коней на коновязь
колхозный бригадир.
И весь в загаре обновясь,
здоров советский мир.
Как люди, не боясь беды,
идут во мрак и льды,
чтоб время новое вписать
в иные небеса.
Как на спецовках липнет грязь
и сохнет от ветров,
как мы, любя, сердясь, смеясь,
ведем свое метро.
Как бег годов — что лёт минут, —
и песни нет про то,
что люди будущее мнут
и месят, как бетон.
Аэропланы тянут даль,
как невод, за собой...
Упорно врубовая сталь
въедается в забой...
Растет добыча чугуна.
Огромен дел дневник,

шумит советская весна
из вышек нефтяных.
И человек не одинок
в такой большой весне,
и счастье ластится у ног
все ближе и тесней,
и ты пройдешь проходку лет,
и вырубишь забой,
и светлой молодости след
оставишь за собой...
И ты припомнишь этот год,
сияющий по край,
когда весна — на полный ход,
на полный первый май!

1932

КАВКАЗ

Янтарный,
 ясный,
 яблочный вкус,
дней семь уже
 или восемь,
за скулами
 крупно
 закусанный кус:
айва,
 инжир,
 осень,
снега изменили
 цветенье вершин.
Где конус
 за конусом всажен,
где летняя мгла
 плыла на аршин,
там белые шапки
 в сажень.
Но эти пейзажи,
 слепящие глаз,
не сразу предстали
 глазу;

советская власть
 пришла на Кавказ
не так-то легко,
 не сразу.
Чтоб сердце твое
 сохранилось целей,
чтоб эхо
 твой слух ласкало, —
на паре обшарпанных костылей
она поднималась
 по скалам;
чтоб медом
 вот этих вот каменных сот
раздутые ноздри
 пьянели;
она пробиралась
 по склонам высот
в изодранной
 вшивой шинели;
она хоронила
 в изломах гряды,
она собирала
 по горстке
забитые
 пасмурные ряды
бешметов
 изодранных горских.
Она поднималась
 по горной дуге
к народам картвелов
 и адыге —
то песнями,
 то рассказом —
к шапсугам,
 к балкарам,
 к абхазам.
Она языком
 говорила одним,

хоть множество было наречий:
— Бедняк бедняку
будет всюду родным.
Сомкнитесь же,
острые плечи! —
И тени сходились
в теснине сырой
на склоны,
укрытые лесом,
их слали аулы
Шатой и Шарой,
Гуниб
и Хунзах с Гудермесом.
Вас в горы загнали,
как диких лисиц,
и вымели —
силою подлы —
тот край, что был весел,
ручьист и лесист,
казацкие
бороды-метлы.
А здесь,
в этих горах,
на голой скале —
рви землю зубами —
не родит;
но сыр
и барашек
всегда на столе
имеет
почтеннейший родич.
Размысли,
подумай: твои ли друзья,
приведшие
белое войско,
Осетию
вырезавшие
князя

Анзоров,
 Хабаев,
 Ватбольский?
 Ты помнишь
 мюридов священной войны?
 Как бились они
 и как гибли?
 Как прочно умели
 сплотиться они
 в отвесных ущельях
 Гергибля?
 Товарищ аджарец,
 товарищ аварец!
 Давай по душам
 с тобой разговаривать!
 Тебя
 ни казак,
 ни мулла не смирит,
 когда ты
 поднимешься,
 красный мюрид,
 когда ты отгонишь,
 принявши в ножи,
 стервятников
 над домами:
 Халилей,
 Гоцинских,
 Узунов-хаджи,
 богатства
 и знати
 имамов!
 Слова эти
 в сакли и во дворцы
 влетали
 везде без усилий,
 как будто их
 розовые скворцы
 на крыльях переносили.

И горцев кровь
от этих речей
текла стремительней
и горячей.
Клинки кинжалов
от гневной дрожи
сами выскакивали
из ножен!

1933

ВЪЕЗД

Стуком поспешной поступи,
гарью полынного запаха
поезд

топочет по степи,
поезд —

с северо-запада.

Ночью по сонной шири
скорый летит без удержа,
крепки сны пассажиры,
пушкой

их не добудишься.

Да и откуда — пушки?
мирные здесь звучанья;
вон уж

по краю кружки
звякнули ложечки чайные.
Утро.

Взглянувши в окна —
вставши на умыванья,

сразу вся очередь
охнет.

Что это там,
в тумане?!

Сразу поймут:

не дома,
Сразу, забыв о суточных,
сердце сожмет истома
этих масштабов не шуточных.

Видишь —

как в отдалении
дремлющими слонами
горы,
согнув колени,
вздыбились перед нами.
Дымной круглясь спиною,
лоб отвернув белесый,
млеют судьбою иною
дремлющие
колоссы.

Вот они

ближе, круче.
Можно рукою потрогать
севшей на землю тучи
каменные отроги.
Можно уже увидеть,
кто на них копошится:
люди иных фамилий —
Джаншиевы,

Абашидзе...

Будничные бешметы,
мельком на поезд глянув,
заняты своею

сметой,
рсализацией планов.

Рубят,
строгают,
роют,
прудят бетоном реки.
Новый
Кавказ свой
строят
кровники и абреки.
Тени вствшей влача,
мирно цветет алыча,
цедят кони губами
пену студеной Кубани.
Горы уходят
за горы,
словно
навек наколото
этого
синего сахара,
светлого
этого холода.
Видишь!
Совсем вот тут они
встали,
до плеч расшитые
в ценность
породы тутовой,
в крепость
стволов самшитовых.
Годы
уходят за годы.
Новое
звонче кланется.
Пухнут в надгорьях
ягоды:
ясного электричества.

Помнишь —
в таком вот поезде
резкостью сна залятого
стало
 начало
 повести
в наши глаза
 заглядывать.

1933

ХОР ВЕРШИН

Широкие плечи гор —
вершин онемелый хор,
крутые отроги
у самой дороги,
времен замолчавший хор.

Высокие тени гор...
С беспмятно давних пор
стоят недотроги
у самой дороги,
затихший внезапно спор.

Когтистые тени круч,
копящие шумный ключ.
Туманные кряжи
завеяны в пряже
вот здесь же
рожденных туч.

Что каменных гряд полоса,
должна быть и песен краса.
Чтоб в небо вздымались,
как каменный палец,
один за другим голоса.

1932

БАРЬЕР

Бушует кризиса
 мутная пена;
товары на складах
 ложатся пластом.
А мы неуклонно,
 а мы постепенно,
промышленность
 вверх поднимая,
 растем.

Поэты
надуют губки,
капризясь:
— У вас не найдется
темы другой ли?
Опять ты про кризис?
— Опять я про кризис
и про монополию
внешней торговли.
Вы скажете:
— Тем не касаясь «казенных»,
в словарь наш
слова эти
не занесены,

мы пишем
 об облаке,
 о газонах,
 о всем относящемся
 к теням весны. —
 Послушайте,
 души
 лирически пежные,
 что было бы,
 если б,
 у вас в облаках
 витая,
 Союз
 не сосредоточил бы внешнюю
 торговлю
 у государства в руках?
 Наехали бы
 коммерсанты шустрые,
 товаров своих
 навели бы стога,
 а мы бы,
 свою обескровив индустрию,
 платили б
 частникам чистоган.
 Потом
 за шерсть,
 за шелка,
 за сласти,
 за обработанный
 каучук, —
 тихонько
 они подобрались бы
 к власти:
 — Позвольте, я вас
 управлять научу!
 Они и сейчас
 от бессилья ярого,
 язык закидывая на плечо,

на ввоз
накладывают эмбарго,
замкнуть нас пытаюсь
ржавым ключом.
А что бы тогда? — Но ленинский прищур
развидел их тени
сквозь призрачный дым.
И пусть вокруг границ они
свищут и рыщут,
мы щелок в торговле
прогрызть не дадим.
Костяк производств их
от кризиса высох,
а наш здоровест,
трудом разогрет.
И кризису вход преградив
на границах,
поставлен
о внешней торговле декрет.
Желаете
торговать с государством?
Пожалуйста:
точные расплатою в срок;
но вам, господа,
никогда не удастся
засесть за Союз,
как за сладкий пирог.
Колонией
мы вам
не будем,
не станем, —
мечтанья об этом
поставьте под крест.
Вы видите —
залито небо блистаньем:

то — Днепр
и Рион,
то — Изгрэс
и Нигрэс!

И это —
сияет рабочая воля,
углы захолустные
светом облив,
держа
монополию внешней торговли
в руках,
нам сберегшую
силы — рубли!

1933

ВОЛОКОЛАМСК

Не гудеть о том колоколам,
святости — не повестись отсюда...
Посетило град Волоколамск
никогда неслыханное чудо.
Продувай рубахи, ветерок:
ну, и понаехало ж народа!
В городе же — тысяч четырех
жителей и то не наберется.
Так тянулись из далеких сел, —
толпы только так бывали густы, —
если слух о новой вере шел
или мощи открывала пустынь.
Над Кремлем, осевшим, земляным,
куполами ржавыми рыжея,
думая, что это снова — к ним,
колокольни вытянули шеи.
Нет, не к ним!.. И снова ржа их ест,
и немеют языки их болью...
А под ними празднует уезд
прочный переход на многополье.
На седых годов лихую супесь
навалившись рычагом плеча,
он темнел, подслеповато супясь,

лямки древней жизни волоча.
Чьи же силы крепкие смогли,
десять лет шатая понемножку,
вытянуть с исподмосковных глин
на веки засаженную сошку?
Слушайте, ценители природ,
томные поклонники березок!
Видите: он движется вперед —
наш веселый, наш советский воздух!
Слушайте и вы, упорный агроном,
Алексей Арсеньевич Зубрилин,
годы битв вам с каждым новым днем
волосы недаром серебрили!
Годы битв за крепкий, свежий быт,
годы рубки старого под корень,
вот оно трепещет и рябит
свежестью взволнованное море!
Вот он, вами выжданный ответ:
ни за орден, вправленный в петлицу,
ни за деньги — не зажжется этот свет,
этот смех, сверкающий на лицах.
— Как пахали мы сохой,
жили с корочкой сухой,
с давними трехполками
выли вровень с волками.
Нынче линия не та —
не страшна нам темнота:
тьма по полю тычется,
в избах электричество.
Расскажите бабам вашим,
дальние приезжие:
тракторам землю пашем —
времена не прежние!
Наши кони — кровные,
строй дороги ровные;
жаль хорошего коня
по ухабищам гонять!

Посмотрите, с самых дальних мест
к вам на праздник ваши гости едут
поглядеть на первый наш уезд,
одержавший над землей победу.
Если есть еще о чем писать стихи
в стародавней деревенской сони, —
лишь о победителе стихий —
человеке на фортзоне!

1933

18 МАРТА

Еще не утро.
Париж недвижим...
Весенний ветер
над Парижем.
Под небесами
обмылок лунный
такой же самый,
что в дни Коммуны.
Еще не свержен
сумрак сонный,
храпят консьержи
и спят гарсоны.
Лишь свежий ветер,
поднявшись рано,
времен
зализывает
раны.
Весенний ветер
взывает сипло:
— Она не сгубла,
она не сгубла.
Такое утро
на сны
не тратьте,

откройте ставни,
сыны и братья.
Рассвет Коммуны,
размерцайся
огнем ответным
по версальцам,
по их протянутой
руке холеной
ударь
Вандомскою
колонной.
Весенний ветер,
свистя о мести,
летит
над крышами
предместий.
И тени,
светом
окрасясь алым,
по пригородным
бегут кварталам.
— Неужто в утро
таких событий
вы так же мирно
и крепко спите?
Сорвите головы
с подушек:
он близок —
грохот
версальских пушек.
Пора услышать
их перекаты,
пора Парижу —
на баррикады!
Вы позабыли,
как на колена
они поставили
Варлена,

вы позабыли
шеренги прочих
без счету
падавших
рабочих.

Такое утро
на сны не тратьте,
вставайте разом,
сыны и братья.

Оно — над вашими
глухими снами
из рук подхваченное знамя!
Рассветный сумрак
весною дышит
и опоясан

зарей до крыш.
Коммуны знамя
все выше, выше,
глазами ищет
во сне Париж.

1932

БОЛЬШЕВИЧКАМ МИРА

Надежда Крупская,
Мария Ульянова,
Димитрова Параскева!

Вы,
мир переделывающие
заново,
на свежий раскат распева,

Вы,
мир перекраивающие
начисто
из прежних масштабов и мерок,
явившие

высшее женщины качество —
упорство революционерок.

Ни тюрьмы,
ни зимы,
ни белые волосы,
ни годы тяжелых лишений
у вас не сломили
ни бодрого голоса,
ни смолоду взятых решений.

Не только что
жены, —
сестры
и матери,
прошедшие злыми боями!
Великую женскую силу вы тратили
на большее обаянье.
Ни боль, ни потеря,
ни темное облако,
ни мертвенность
сумерек серых
не мглили
высокого, ясного облика
отважных революционерок.
Вы не на баррикады избегали
со знаменем,
позируя и славословясь,
вы ясным
крепили
и ярким сознанием
о женщине новую повесть.
В далекой Болгарии
плуги плугарили,
Симбирска
косились остроги,
когда ваши серые,
когда ваши карие —
пути выбирали, дороги.
Когда по сутробам,
тоскою примятым,
серея, толпились бушлаты,
когда и не веяло
нынешним
мартом,
Октябрьской не высилось даты,

Вы выросли
с братьями
и сыновьями,
родными
не только по крови,
и женщина стала
над всеми краями —
с отважными самыми вровень.
На славные головы ваши седые,
на крепкие ваши привычки
сегодня равняются
все молодые —
страны и земли
большевички.

1934

ВСТРЕЧА

Ах, какого парня
я встретил в январе:
шинель кавалерийская
и шашка в серебре.

Шинель кавалерийская —
широкая пола —
на все крючки застегнута,
подтянута была.

Походкой непривычной,
тяжелою стопой
вошел он в дверь уверенно,
как паровоз в депо.

И может, новой песни
природа такова, —
но стало сразу празднично
в трамвае буквы А.

Шел вагон, тянулся
до Сретенских ворот...
Ко мне он повернулся
в полуоборот.

Скулы его добротный,
устойчивый загар,
должно быть, начинал еще
обветривать Чонгар.

А шашку, что любовно
и бережно он нес,
как будто в искры крупные
облицевал мороз.

Его фигуры складной
осанистый отвал,
должно быть, проверяли
позиции ОДВА.

Уверенно и крепко
сидел он, туг и прям,
и лишь над белой бровью
змеился рваный шрам.

К нему со словом ласковым
хотел я подойти,
чтоб ближе познакомиться
в коротеньком пути.

Да только растерялся
в подборе нужных слов,
пока трамвая скрежетом
нас к Сретенке несло.

Ну, чем его почту я
и что ему спою,
все песни отстоявшему
в решительном бою?

А что до этой повести,
он знает — видит сам,
какие взмыли новости
к советским небесам.

Но если бы эту встречу
опять бы мне в глаза,
я — руки бы на плечи
и так ему сказал:

На свете есть другие
знамена и полки,
туземных легионов
тяжелые белки.

Шотландские волынки,
нашивка и шеврон,
угрюмой дисциплины
казенное тавро.

Но те, чьи руки знают
рабочий толк в вещах, —
повсюду в мире помнят,
кого ты защищал.

И этот шрам надбровный
и твердая шинель
погонов и шевронов
им ближе и ценней.

А ты — правофланговый
тех армий, навсегда,
чей знак — сигнал восстания —
нашлемная звезда.

И может, новой песни
природа такова, —
что нужно ей отыскивать
особые слова,

что хочется приветствовать
теплее и добрей
шинель тяжелополюю
и шашку в серебре.

РУКА ОБ РУКУ

Не одни пироги с повидлой
да навар зажиточных щей, —
революция нам повидала
много лучше в мире вещей;
много новых, совсем не бывших,
удивительных дел труда;

Их с московских строительных вышек
по-особенному видать.

Разметалась Москва холмами,
расснялась на целый свет,
и над ней большевистское знамя
хлещет лавой семнадцати лет.

Но не мне вас дивить чудесами,
если глянете сами, востро.

Вы чудес понаделали сами:
Стратостат, Беломор, Метрострой.

Мы припомним, как звенья героев
шли на штурм земли и воды,
как бетонщицы Днепростроя
по себе равняли ряды.

Не за жирный кус, не за место —
среди первых ГЭС огоньков —
поднимала число замесов

впереди бригад Романько!
Как, собирая опыт по горстке,
не уставши сил напрягать,
комсомольцы Магнитогорска
поднимали вверх агрегат;
как ряды ночей неусыпных
наводили бессонный глаз
и на «Шарики- на подшипник»,
и на «Тракторстрой», и на «ГАЗ»;
как страна, догнав, обгоняла
ширь уперших вперед утроб,
как студеной водой канала
запотелый смочила лоб!
Нет, не только часы-будильник
да гармонь, да велосипед, —
революция нам судила
обновить кое-что и в себе.
Ты, высокую жизнь несущий,
атакующих дней командир,
повелитель воды и суши,
перестраивающий заново мир,
глянь вокруг, — все не то, что раньше:
свод небесный повыше стал,
хоть закат, как раньше, оранжев
и рассвет попрежнему ал.
Но вокруг — что ни шаг, то новость.
И — походке твоей узка —
что ни пядь, то новую повесть
для тебя заводит Москва.
Что ни шаг — то новые люди,
что ни день — то новый этаж;
говорят, что новое будет
для тебя, если сам ты не сдашь.
Дай же руку на это счастье,
чтоб жилось теплей и родней,
мой товарищ и соучастник
величайших в истории дней!

1933

О СЛОВАХ

Сколько новых вещей у нас!
Сколько жгущихся слов благодарных!
Помогай их звучаньем движению масс,
коммунист, просвещенец, ударник!
Я в заботах поэзии бьюсь о слова,
и слова отделяются туго,
но я рад, что на них заявляют права,
как на сталь, на машины, на уголь.
Я к губам подношу полновесы слов,
скипидарность их и горючесть;
и я знаю: то слово, что в стих вросло,
есть моя стихотворная участь.
Я — ударник отныне не только в них,
воспевающих силу удара;
я не даром в их смысл и звучанье вник:
они — никому не подарок.
Не жене на ушко дареный супир,
и не дочке к рождению серьги, —
те слова подарила нам нынче Сибирь —
бесконечный источник энергий!
Так спешите ж, стихи, на ударный фронт,
новым смыслом и светом налиты,
да такие, чтоб сами вжигались в рот:
апатиты и сапропелиты.
Апатит. Удобренье советских полей,

ярче горного снега в стихах забелей!
И, пушка на губе молодого смуглей,
ширься, юность сапропелитских углей!
Сколько новых и ярких вещей у нас!
Сколько слов смоляных, скипидарных!
Помогай их звучаньем движению масс,
коммунист, просвещенец, ударник!

1932

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ



Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летят вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
— Руку на сердце
свое положи,
я тебе скажу:
— ты не тронь палаша!
Силе такой
становись поперек,
ты б хоть других —
не себя — поберег!

Белыми копытами
 лед колотя,
тени по Литейному
 дальше летят.

— Я тебе отвечу:
— друг дорогой,
гибель не страшная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,
голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу сердце
мое влюблено!

3

Розовые губы,
витой чубок,
синие гусары —
пытай
судьбу!
Вот они, не сгинув,
не умирав,
снова
собираются
в номерах.
Скинуты ментики,
ночь глубока,
ну-ка, вспеньте-ка
полный бокал!
Нальем и осушим
и станем трезвей:
— За южное братство,
за юных друзей.

4

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться
и что им беречь?

В них страсть закипает,
как в пене стакан:
впервые читаются
строфы «Цыган».

Тени по Литейному
летят назад.
Брови из-под кивера
дворцам грозят.

Кончена беседа,
гони коней,
утро вечера
мудреней.

Что ж это,
что ж это,
что ж это за песнь?
Голову на руки
белые свесь.
Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
синие гусары
под снегом лежат!

1926

ДЕКАБРЬСКИЙ ТУМАН

1

Петербургский холодный туман:
это день или это тюрьма?
Головою спросонья качни:
это свет или это ночник?
Дым, как дерево, тих и кудряв,
а деревья нависли, как дым,
будто город — с того декабря —
побелел и остался седым.
Здесь прощальное небо темней,
чем в глазах умирающих — свет,
от морозного пота камней,
от испарины сгибнувших лет.
Будто этого утра заря,
окроваваясь, осталась стоять;
будто всажен ей в сердце заряд
и кинжала вошла рукоять;
будто тот же мороз по спине;
будто им не в железо врастать, —
на сведенных руках цепенеть
кандалам Чернышева моста.

Если ты начинаешь стареть, —
в двадцать раз здесь седеешь скорей, —
в Невский шелест расветом влеком,
ты проснешься уже стариком.
Сдавит сердце свинцовый восторг:
это марево или игра, —
эти вздохи дворцов и мостов,
усыпленных садов филигрань?!
Это — выдумка или всерьез? —
Здесь нельзя разобрать никому:
сизой сети седое сырье,
ледяная рыбацкая муть.
Ни себя, ни друзей не щадя,
здесь столетье сходило с ума,
столбенеть на твоих площадях,
петербургский студеный туман.

1928

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

I

Сто довоенных внушительных лет
стоял императорский университет.
Стоял, заложив угла во главу
умов просвещение и точность наук.
Но точны ль пределы научных границ
в ветрах перелистываемых страниц?
Не только наука, не только зудеж, —
когда-то здесь буйствовала молодежь.
Седые ученые в белых кудрях
немало испытывали передряг.
Жандармские шпоры вонзали свой звон
в гражданские споры ученых персон.
Фельдъегерь, тех споров конца не дождав,
их в тряской телеге сопровождал.
И дальше, за шорох печеристых рек,
конвойным их вел девятнадцатый век.

II

Но споров тех пылких обрывки, обмылки
летели, как эхо, обратно из ссылки.
И их диссертаций изорванных клочья,
когда еще ты не вставал, пролетарий,
над синими льдами, над царственной ночью,
над снами твоими, кружась, пролетали!
Казалось бы — что это? Парень-рубаха,

не знающий ни сомнений, ни страха,
не ждя для себя ни наград, ни хваленья,
встал первым из равных на кряж поколенья!
Да кряж ли? Смотрите — ведь мертвые краше
того, кто цепями прикован у кряжа,
того, кто, пятой самолюбье расплющив,
под серенькой русского дождика хлющей
стоит, объярмован позорной доскою,
стоит, нагружен хомутовой тоскою.
Дорога плохая, погода сырая,
вот так и стоит он, очки протирая,
воды этой тише, травы этой ниже,
к бревну издевательств плечо прислонивши.
Сто довоенных томительных лет
стоял императорский университет.
На север, сея, стоял и на юг
умов просвещение и точность наук.
Но точны ль пределы научных границ
в ветрах перелистываемых страниц?
С наукой власть пополам подела,
хранили его тишину педеля...
Студенты, чинной став чередой,
входили в выложенный коридор.
По аудиториям шум голосов
взмывал, замирал и сникал полосой.
И хмурые своды смотрели сквозь сон
на новые моды ученых персон;
на длинные волосы, тайные речи,
на косовороток подпольные встречи,
на черные толпы глухим ноябрем,
на росчерк затворов,
на крики: «Умрем!»
На взвитые к небу казацкие плети,
на разноголосые гулы столетья,
на выкрик, на высверк, на утренник тот,
чьим блеском и время и песня цветет.

1929

ГРОЗА НАД МИРОМ

НОВОГОДЬЕ

Бродит старый год по свету
и не может
кануть в Лету:
не найдет
дороги к ней, —
совершенно
нет огней.
Спутал он
пути и тропы,
жар и страх
его томит;
на пространстве
всей Европы
рвет потемки
динамит.
На часах
молчат кукушки;
стрелки стали —
не идут;
в звездах —
бомбы,
в елках — пушки
ветви сломанные мнот.
Чтобы ночь

густую эту
привести скорей
к концу,
сдал давно в он
эстафету
новогоднему юнцу.
Да не знает,
где шныряет
этот
ветер
молодой,
как его старик
ни кличет,
сотрясаясь бородой
А парнишку
не заманишь
в эти чортовы
потьмы:
он сияет,
он пылает,
он желает жить,
как мы!
У него
от щек румяных
пышет
солнечный разлив.
У него —
в одном кармане
мандарин
и чернослив.
У него —
в другом кармане
тоже
много новостей
для незванных, —
хоть и жданных, —
но непростенных
гостей.

Вот он — здесь
сидит мальчонка
и на Лету
на реку, —
где нельзя
смеяться звонко, —
не спешит он
к старику.
Он желает
новогодье, —
свой веселый,
лучший час, —
в наших парках
и угодьях
— только —
праздновать у нас!
Но нельзя ж,
рожденник милый,
мир — бесчасьем
поражать. . .
Нет такой
на свете силы,
чтобы
время удержать.
С новым годом.
с новым счастьем
на Союзный
прочный лад
пусть указывает
сроки
наш
советский циферблат!

1940

Январь

ВО ВЕСЬ РОСТ

Они
не любили повадок наших,
кривиди
вельможный рот,
страшась,
что, вольное знамя поднявши,
их смелет
в муку народ.
А так,
под защитой штыков заморских,
их
буря не накренил;
дворцов их Закревских,
их замков Замойских
не сдвинется
герб и гранит.
Ворчали,
на нас оскалив клыки,
напоминая
собаку цепную,
но как
на ходу оказались легки:
посыпались
врассыпную!

Сам польский народ
не унижен ни в чем,
то — панское —
втоптанно
зная,
а он показал,
что не хочет мечом
махать
наряду с панами.
Тяжелая участь —
страну уступить,
фронты истончив
до нитки...
Но если народу —
штыки иступить, —
то —
не за чужие пожитки!
Не вздыбишь
народа таящихся сил
при помощи
окрика злого.
Но вот наш Молотов
объявил
советское
веское слово.
На «их» Украине,
на «их» Беларуси
такие ж живут
Пятры и Маруси,
и этих людей
насерьез,
не для виду,
нигде,
никогда
не дадим мы в обиду.
И эта простая,
спокойная речь

сердца
опалила жаром:
им нужно помочь,
поддержать,
оберечь,
чтоб не пропадали
задаром!
Какая уверенность,
сила,
подъем
во всех
повстречавшихся взорах:
мы руку помощи
тем подаем,
кто кровно нам близок
и дорог!
Не верь,
трудоу польский народ, —
кто сказкой
начнет забавить,
что будто
затем мы шагнули
вперед,
чтоб горя
тебе прибавить.
Твое величье
не в белом орле, —
мы знаем это
по опыту, —
оно —
в спокойном труде,
на земле,
своими руками
добытой.
Мы переходим
черту границ —
не с тем,
чтоб нас боялись,

не с тем,
 чтоб пред нами
 падали ниц,
а чтоб —
 во весь рост выпрямлялись.

1939

ПОЛЕТ ПУЛЬ

Ребенок вдали закричал:
«Не надо, не надо, не надо!»
Пронзительный крик отвечал
на то, чему сердце не радо,

на то, чему чужды зрачки,
и губы, и руки, и ноги;
разодрано время в клочки
стенаньем воздушной тревоги.
Вот так начиналась война,
пред нею — все звуки не громки:
качается квартиры стена,
и рухнут на плечи обломки.

Ударит тяжелый снаряд,
разметет железо и камень,
и — старые стены горят,
нетронутые всками.

Все стало непрочным, как дым,
и думалось горестно людям:
«Умрем или победим, —
мы этих времен не забудем!»

Потом мы привыкли к войне
и стали носить ее имя,
и стали, обычны вполне,
детали ее — бытовыми.

Набухши ее молоком,
дыханьем ее ядовитым,
мы взгляд устремляли мельком
к обманам ее и обидам.

Мы стали до губ тяжелеть
под всем, что на сердце сгружалось,
железо ли надо жалеть?
Железо не знает про жалость!

И только на душах налет,
как бы от гранильного шлака,
ее непомерных тягот,
ее несводимого знака.

Мы сами втянулись в валы
стальных и железных прокатов
и сами вложились в стволы
нацеленных автоматов.

Поэтому — неотвратим —
растет наш напор, прибывая,
мы сами, как пули, летим,
сквозь воздух летим, запевая.

Сквозь время летим и поем
и светимся сами от пенья —
о самом большом, о своем
предел перешедшем терпенье.

Уже нас назад не вернуть,
мы порохом пущены в дело,
навек проложенный путь
должны долететь до предела!

Рукой нас теперь не словить,
как взмывшую в небо комету,
броней не остановить, —
на свете брони такой нету.

Мы насквозь ее просверлим,
куда бы враги ни засели,
покуда не дрогнет Берлин,
пока не ударим по цели!

1942

КОГДА НАД ФРОНТОМ...

Когда над фронтом
катится звезда, —
ждешь грохота
в конце ее следа.

На небе месяц,
молодой и прыткий,
глазеет вниз, —
еще не сбит зениткой.

Туман, встающий
молча из-за леса,
окутывает
дымовой завесой.

И на лугу,
где сладко млеет сено,
приходит мысль
о запахе фосгена.

Пожарищем,
плывущим из-за хат,
дымит восток
и плавится закат.

Ряды кустов,
знакомые веками,
загримированы
грузовиками.

Клин журавлей летит:
точь в точь — над рощей
к бомбардировщику
бомбардировщик.

И тополя,
темны и молчаливы,
встают вдали,
напоминая взрывы.

Укрыто все,
и на лесной опушке
поют обманным голосом
кукушки.

1941

ВЕТЕР ДИК И ГРУБ

Ветер дик и груб,
клонит дым у труб,
гонит, пригибает,
рвет за клубом клуб.

Над трубою дымы —
хата не пуста...
Страшны, нелюдимы
гиблые места.

Улица села
выжжена до тла,
словно все живое
вымела метла.

Ходит часовой
с «мертвой головой»;
вьюга запекает
нотой басовой.

Чудится ему
в снеговом дыму —
призраки мелькают
сквозь метель и тьму.

Пособи, зима!
Посуди сама!
Шаг врага попутай,
посводи с ума!

Чисты, непримяты
свежие снега;
стынут автоматы
в пальцах у врага.

Снега целина,
вьюги пелена,
рухнув, вновь взмывает
воздуха стена!

У врагов в тылу
сквозь буран и мглу
сводные отряды
движутся к селу.

Помоги, пурга,
разгромить врага,
чтобы подкосилась
хищников нога:
стужа их дерет,
ужас их берет,
ходят, автоматы
выставив вперед!

Не мешай, метель,
нам наметить цель,
чтоб упал захватчик
в мерзлую постель,
чтоб упал — уснул
под метели гул,
под прямой наводкой
партизанских дул!

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Орды фашистские,
дики и пьяны,
вторглись в ворота
Ясной Поляны.
Все испоганили,
все истребили,
книги пожгли
и деревья срубили;
пусть, дескать, в пепел
испепелятся
самые мысли
яснополянца!

Но со страниц
его книг обожженных —
сотни героев
вооруженных;
из-за дерев,
посеченных под корень,
вышел бессмертный народ
непокорен!
Вот — человечен
и простодушен —
встал со своей носогрелочкой
Тушин.
Вот невидимка
Тихон Щербатый

где-то окапывается
лопатой.

Вот красноликий,
бросающий вызов,
вражьи тылам
угрожает Денисов.

И егеря
за Багратионом
рвутся в атаку
всем батальоном.

Вот —
остальных многоопытней,
старше,
шрамом отмеченный,
славный фельдмаршал...

Цепи обходные
сторожевые...

Нет! То — не тени,
то — люди живые!

Вот сам хозяин,
обеспокоясь,
вышел, засунувши
руку за пояс;

грозное что-то
в движении этом,
в дымах,
поднявшихся
над портретом.

Взор — на врага он,
брови нахмуря, —
в Тульских лесах
подымается буря,
люди, с ним схожие,
грозы и хмуры,
знают, как с хищников
сдергивать шкуры!

ВРАГАМ

Хищные звери
с разумом темным,
Гитлер и Геринг,
мы вам припомним!
Жизнь превратившие
в сумрачный вечер,
лязг ваших армий
не вечен, не вечен!

Куда б ваши танки
ни забежали,
мы путь перережем им
рек рубежами;
куда б ни залетывать
вашим пилотам,
станут их кости
гнить по болотам!

Вы к нам прокрались, —
столбы наших крылец
выше порогов
кровью покрылись;
мы опрокинем вас —
кровь ваша выше,

выше стропил
застроится по крышам!

Врагу,
в наши дома
посмевшему влезть, —
мечь, мечь, мечь.
Врагу, оскорбившему
нашу честь, —
мечь.

Что в мире отныне
священное есть? —
Мечь, мечь, мечь.
Пять чувств у нас было,
отныне — шесть:
шестому название —
мечь.

Пусть слуху желанна
единая весть:
мечь, мечь, мечь;
пусть вспыхнет на стенах,
чтоб глаз не отвесть,
огромными буквами:
м е щ ь !
На вражье коварство,
на хитрость,
на лесть —
мечь, мечь, мечь.
Пять чувств у нас было,
да будет шесть:
шестому название —
мечь.

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

Большой человек
стоит на большой горе,
маленький —
на своем холме;
он, точно суслик из норки,
видит свои опорки
на своей
маленькой горке —
маленьком своем уме.

Большой человек
думает обо всей земле,
маленький —
лишь о своей семье:
считанная родня его
не велика,
с ней он не просуществует
века.

Но если народ поднимается
в полный рост
и волосы его
касаются звезд,
и руки его

распростираются в ширь,
то даже и в маленьком сердце
растет богатырь.

Тут его сердца
не задевай, не тронь,
все свое будущее
он кладет на ладонь,
все мелочные страсти
над ним не имеют власти,
он их бросил с размаху
под общий котел
в огонь.

Нынче мы все
стали большими людьми,
в сердце у каждого
больше стало любви,
больше стало
ненависти к врагу,
жить нам мешавшему
на каждом шагу.

1942

НАШИ ЛЮДИ

Наши люди
широкогруды,
рубят срубы
и роют руды,
труд им люб
и в лесу и в поле, —
наша сила
и наша воля!
Люди наши
миролюбивы:
рек и глаз
широки разливы;
если ж их
глубину затронешь,
отойди — захлестнет,
утонешь!
Я видал
рыбаков на Каме:
борода у них
завитками,
прорумянена
в зорях кожа,
говорят они
гулко и гоже,

называют себя
дедами,
а таскают
рыбу — пудами.
Я глядел
горняков Урала,
люди — вечного материала:
и в тайге,
и в Приморских сопках
нет ни слабых меж них,
ни робких.
С севера —
Новгородское вече,
с юга — круг
Запорожской сечи.
Где б нас ветром
ни заносило —
наша воля
и наша сила.
Если нас
обожжет обида,
промолчим,
не покажем вида.
Пред грозою
стоим, не стонем,
под бедой
головы не клоним.
Если ж сердце
заденут грубо,
сплавим руды
и спалим срубы,
шапку сымем
и кинем о землю,
все оставим
и все забросим.
Нам тогда —
все равно убыток:
в бой пошли —

не считай убитых.
Тем мы
целому свету и любви,
что — душой
справедливые люди!

1942

ЭХО СЛАВЫ

Стальные, глубокие груди
до самого сердца
вдохнули:
сто двадцать орудий
слились в нарастающем гуле.

Раскаты! Раскаты! Раскаты!
Приветом державным
откликнулась зычно,
Москва ты,
сынам своим славным!

Откликнулась
пламенным голосом, —
как надо дерзать и бороться
своим беззаветным
орловцам,
своим храбрецам-белгородцам.

И — эхом немеркнущей славы
в пальбе орудийной —
гул
Бородина и Полтавы
слился воедино.

И вспыхнули
зарева вспышки,
промчавшись веками,
венчая Кремлевские вышки
бессмертья венками.

1943

СНОВА В ДОНБАССЕ

Наши в Донбассе!
Снова в Донбассе!
Немцев стирая
с лица земли, —
нечисть дубася,
на смерть дубася,
мордой тупою
купают в пыли.

Нет ни стиха такого,
ни прозы,
чтоб рассказать —
что на сердце таим:
вслед им неситесь,
взревев, паровозы,
вслед, длинногорлые,
залпами им!

Что, пивовары,
что, мародеры,
дорог донбассовский
уголек?!
Долго ли пробыли,
много ли добыли?

Сразу не взять его?
Прочно залег?

Что, душегубы,
что, душегары,
дешево ль стали вам
наши товары?
Все ли дограбили,
все ль дорубили, —
угольной пылью
зобы понабили?

Ежитесь, тужитесь,
гнетесь, коробитесь
к заду поджатым,
линялым хвостом?
Пласт не поднимете?
Сами уляжетесь
в землю прибитым
тяжелым пластом!

Немцев дубася,
немцев дубася,
мордой тупою
купая в пыли, —
наши в Донбассе,
наши в Донбассе
нечисть счищают
с советской земли!

1944

НЕ ТУДИСЬ, НАША СТАЛЬ

Это был поворот
и размах,
и удар,
и опять —
поворот и удар!
Это был всех сердец наших
собранный жар,
кто бы ни был ты,
мал или стар!
Это было —
что в каждой душеросло:
гнев и боль,
в молодом
и седом,
долгожданное, красное
наше число,
прежде званное
божьим судом!
Это схвачена в клещи
рука палача
здесь,
у города Калача,
в Абганерово —
нерв перерезан убийц:

не тупись, наш клинок
 не зубись!
Дальше, дальше гони их,
 тесни и клони
горы трупов
 и груды знамен, —
чтоб
 не знала родня,
 где окончились дни
их,
 навек проклятых имен!
Кто их звал сюда?
 Кто их сюда приглашал,
на просторы
 задонских степей?
Кто им дома по-своему жить
 помешал?
Не тупей, наша сталь,
 не скупей!
Не бессильная злоба
 владеет пером, —
справедливость и правда —
 сюда!
В окровавленном ими
 просторе сыром
Намечается
 зала суда!
Шестьдесят ихних тысяч
 признала вину
пред лицом
 непреклонных улик:
Шестьдесят ихних тысяч
 осталось в плену,
счет не кончен,
 хотя и велик.
Посчитаем, —
 и я не собоюсь,
 не солгу: —

не полна
 подсудимых скамья:
у народа
 останется в вечном долгу
вся фашистская
 злая семья.
Поворот и размах,
 поворот — удар!
Начинается
 праведный суд,
еще ждет,
 напрягая глаза, Краснодар,
Севастополь с Одессою
 ждут!
Еще Франция ждет,
 еще Бельгия ждет,
еще Чехию
 душат враги, —
они знают и ждут:
 суд идет, суд идет,
всей землей
 отдаются шаги.
Это те,
 кто, за шиворот взявши убийц,
повернул их
 решительно к судьям.
Не тупись, наша сталь,
 наш клинок, не зубись,
мы вас —
 вдвое
 оттачивать будем!

1943

СЕВАСТОПОЛЬ

Бьет о берег морская пена,
словно пушечных залпов звук.
«Севастополь вырван из плена,
из проклятых фашистских рук!»

Вот она, золотая минута,
что столетья берут на учет:
отрубили щупальцы спрута
на краю черноморских вод.

Обломилась вражья гордыня,
отвалилась с души скала,
снова нашей славы твердыня
поднимает вверх вымпела.

Бьет о берег морская пена,
словно пушечных залпов звук.
«Севастополь вырван из плена,
из проклятых фашистских рук!»

Снова ветер, волен и солон,
размывает небо над ним,
снова город говором полон
долгожданным, свойским, родным.

Снова рокот лебедек дружный
черноморская встретит заря,
и над Северной и над Южной
зачеканят сталь слесаря.

Снова звуком басов органным
корабельным взгудеть гудкам,
отдающимся по курганам,
проносящимся по векам!

Так, покончив с врагом расправу,
Севастополю в блеске дня
так стоять ему, — древнюю славу
с нашей, с нынешней соединя.

1944

СМОЛЕНСК ВЗЯТ!

Когда, торжествуя
над врагом лютым,
страна храбрецов своих
славит салютом, —
то нет на земле
ничего вдохновеннее,
чем эти величественные
мгновения.

Сегодня особенно яркого блеска
были вспышки и долог гул:
Это — разжались глаза Смоленска,
Это — Рославль свободно вздохнул.

Смоленск взят!
Из жил яд!
Исторгнута злая отрава.
Советские флаги победно парят,
Смоленским дивизиям —
Слава!

Этой дорогой
разбитых французов
некогда гнал
разъяренный Кутузов.

И той же великой
старинной дорогой
назад изгоняются
снова враги.

И тою же славой
дедовской, строгой
внучат зазвучали
стальные шаги.

Смоленск взят!
Из жил яд!
Исторгнута злая отрава.
Советские флаги победно парят,
Смоленским дивизиям —
слава!

Земля всколыхнется
победными маршами,
и поймут отдаленнейшие умы,
насколько всего человечества
старше мы, —
спасшие мир
от фашистской чумы!

1943

НАШИ ИДУТ ВПЕРЕД

Подымайтесь,
слова, в атаку,
распрямливайтесь
во весь свой рост;
по сердечному
жаркому знаку,
радость, с яростью
хлынь до звезд.

Радость — ярости
встань в подмогу
до решающего конца:
нашим бодрость,
а им тревогу
вбей в клейменные
их сердца.

Что,
не знавший пощады хищник,
обломавший концы когтей,
что осталось
от перьев пышных,
от хвастливых твоих затей?!

Ни у Белгорода,
ни у Курска
не дают ни присесть, ни встать,
ни потачки тебе,
ни спуску:
клюв раскрыл!
Тяжело дышать!!

Как ни порскай
и как ни каркай,
чуешь времени перелом, —
отлетаешь
стремглав за Харьков,
черный ворон
с подбитым крылом.

Гнать и мять,
и давить, и класть их
вал за валом
до ста пластов,
чтоб за горами
рваных свастик
им не взвидеть
вовск Ростов.

Чтоб забыли
они отныне
путь, заказанный навсегда
в наши дали,
в места родные,
в наши кровные города!

Слушай, Киев,
гляди, Полтава,
чуй, ушедший в леса народ:
это — наша
с врагом расправа,
это — наши
идут вперед.

Уж на каждой улице праздник:
каждый день прибавляет свет,
от чудовищных
лапищ грязных
отмываем
за следом след.

Подымайтесь,
слова, в атаку,
распряmlяйтесь
до самых звезд:
по сердечному
жаркому знаку
встань, победа,
во весь свой рост.

1943

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Сквозь сумрак зимней ночи мчась,
к нам долстают вести:
«В последний час! В последний час!»
Клич доблести и чести!
На свете нет дорожке слов
для нас теперь, чем эти:
светлеют взоры стариков,
и радуются дети.
Во мгле заснеженных дворов
дыханье ширит груди, —
у сотен тысяч рупоров
стоят, притихнув, люди.
Сквозь сумрак мчась, сквозь ветер мчась,
через метель и стужу:
«В последний час! В последний час!»
слова слетают в душу.
В них — рев орудий, блеск гранат,
упорный шаг пехоты,
они в себе еще храпят
жар боевой работы!
И на устах они у всех,
и каждый вторя шепчет,
что нашей Армии успех
один другого крепче!

И здесь и там, и здесь и там
враг, погибая, стонет:
за ним, в атаку, по пятам
идет и гнет и гонит!
Героев здесь не перечесть,
имен их — миллионы!
За вестью радостная весть
Колышет их колонны.
От них сквозь сумрак ночи мчась,
Летят к нам эти вести:
«В последний час! В последний час!» —
клич ярости и мести.
Страна знамена подняла
немеркнущего цвета,
на их отважные дела
дивится вся планета.
Дохни ж, сквозь сумрак ночи мчась,
дыханием победным,
чтоб стал врагу последний час
действительно последним!

1944

ЭТО МЕДЛЕННЫЙ РАССКАЗ

Это медленный рассказ, —
как полет
туч,
это Северный Кавказ, —
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор,
через Нальчик и Моздок
смотрит смерть
с гор.

Все затянется корой,
схлынет
в шум рек:
грозный год сорок второй
не забыть
век!

Враг ударил на Черкесск,
Пятигорск
пал,

враг пошел на перерез
вековых
скал.

По долине Теберды,
через горб —
мост...
Перекинул он ряды,
растянул
хвост.

Он преграды прорывал,
бил гранат
град,
па Клухорский перевал
подымал
взгляд.

Вот куда он залетел,
до каких
мест:
в сердце гор он захотел
вбить
кривой крест.

Подымалось на дыбы
все —
врагу встречь:
корнем вверх пошли дубы
на завал
лечь!

На альпийские луга
ледников
сверк:
чтоб скользящая нога
не прошла
вверх.

И у горных медвежат
не был дух
слаб, —
враг был стиснут и зажат
между
их лап.

Захрустел его костяк,
унялась
спесь,
и недолго он в гостях
побывал
здесь.

Обвалился грязи груз,
вновь чиста
даль,
не склонился Эльбрус
под его
сталь.
Это медленный рассказ,
тяжкий ход
туч,
это Северный Кавказ,
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор,
через Нальчик и Моздок
шел громов
спор.

1944

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Граждане
Советского Союза!
Враг разбит,
растоптан в пыль и прах.
Пала с сердца
тяжкая обуза,
радость,
крылья ширь во весь размах.

Враг разбит,
растоптан в пыль и в щебень,
силой правды
смят и сокрушен,
шорох трав,
веселый птичий щебет
больше
шумом битв не заглушен.

Настало желанное время
улыбок,
объятий,
встреч:
страна опускает
бремя

с могучих
широких плеч.
Распрями
свои гневные брови,
что свело
боевою грозой,
и утри свои очи
от дыма и крови
свежей зеленью,
утреннею росой.

И над каждым селеньем,
семьею, избою,
и на каждой строке,
и на каждом станке
взвейся, песнь:
победительницей из боя
вышла Родина
в свежем лавровом венке.

Остывайте,
жерла орудий,
разрежайся, пороха дым:
ведь живые, отважные люди
возвращаются
к милым своим,

Только взор их
острей и орлиней,
и задумчиво пристальней стал, —
тех,
кто насмерть сражался
в Берлине,
кто из Одера
воду черпал.

Распрямитесь же,
грозные брови,

и умойтесь
родною водой,
вы, кто годы стоял наготове
между радостью
и бедой.

Над землею
родною, сырою
встань на страже,
как огненный смерч,
знак победы,
оружье героя —
Сталинградский
блистающий меч!

1945

РАЗБИТА И ПРИКОНЧЕНА...

Разбита и прикончена
фашистская японщина,
на долгие века
ей скручена рука!

Опасною соседкой
была она для нас,
нельзя от пули меткой
свести, бывало, глаз.

Мы помним эти зори,
крутые берега,
когда вступить в Приморье
смогла нога врага.

Навис он темной тучей,
нахрапом обуян,
да смят был с сопок кручи
в Великий океан.

Коварство злого плана
мы помним до сих пор:
и грохот у Хасана,
и бой за Халхин Гол.

Весь век ее смиряя,
должны мы были жить,
рубашки самураю
смирительные шить.

Теперь он связан, скован
за Гитлером вослед,
и Дальний застрахован
от бед на много лет.

Смывай же злое лихо, —
воронки тяжких ран, —
Великий или Тихий
советский океан!

1945

ПЕСНЯ СЛАВЫ

Славься, великая,
многоязыкая,
братских, советских
народов семья.

Стой, окруженная,
вооруженная
древней твердышей
седого Кремля!

Сила несметная,
правда бессмертная
Ленинско-Сталинских
пламенных лет!

Здравствуй, любимое,
неколебимое
знамя, струящее
разума свет.

Славная дедами,
грозная внуками
дружных советских
народов семья!

Крепни победами,
ширься науками,
вечно нетленная
славы земля!

1945

У ЛЕНИНСКОГО МАВЗОЛЕЯ

Здесь не обычная могила,
не прах земной, —
бессмертия почиет сила
под той стеной.

Не диорид, не красный мрамор,
не камень, нет —
здесь мир благоговейно замер
всей мощью недр.

Людская лента вьется-вьется,
как вязь венка.

Вокруг — на страже Веководца
стоят века.

На краткое одно мгновенье
сюда войди,
и унесешь ты вдохновенье
навек в груди.

И вышедши оттуда, взгляд твой
останови

там, где поклялся Сталин клятвой
большой любви, —

Любви к нему, к его заветам —
всей правдой их, —
на месте самом светлом этом
надежд людских.

И, возвратясь отсюда к дому,
к своим делам,
мир станешь зорче, по-другому
ты видеть сам.

Как будто горизонтом шире
раскинут свет,
и чувствам есть опора в мире
и дум ответ;
и как бы ни был озабочен
тревогой дух, —
ты слышал, как сказал рабочий
соседу вслух:

«Вот если бы ему взглянуть бы
на этот свет,
на нашу жизнь, на наши судьбы,
на дни побед!

Он в сердце вырастил, лелея,
времен росток. . .»

Струился, строг, у мавзолея
людской поток.

1945

ВСЕНАРОДНЫЙ КАНДИДАТ

Всем,
кому предоставлено
право голосовать, —
каждому
голос за Сталина
хочется
свой отдать.
Солнечного восхода
светом
озарены
мысли всего народа
в избраннике
страны.
В грозной
проверке лет —
прочность
советского строя,
Сталинский путь побед,
подлинный путь героя.
В светлом его мозгу
ширились
мысли большие...
Кто отвечал
за Москву,
кто отвечал
за Россию!?
Он олицетворял
неукротимой волей

горы ее
и моря,
реки ее
и доли.
Мир был
в густом дыму,
но
как сквозь грань
кристалла —
виделось ясно ему
все, что теперь настало.
Снова до самых звезд,
полная
сил и света,
на ноги
в полный рост
встала Страна Советов.
Снова народ встает
выбрать
своих старейшин,
Сталин меж них
идет
избранником
первейшим.
В нем
наша гордость
и честь,
с ним
наша сила и слава;
дело избрания есть
наше
великое право!

1947

СТИХИ О МОЛОДОСТИ



НЕ ЗА СИЛУ, НЕ ЗА КАЧЕСТВО...

Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.
Я тебя запомнил докрепка,
ту, что много лет назад
без упрёка и без окрика
загляделась мне в глаза.
Я люблю тебя, — ту самую —
все нежней и все тесней,
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.
Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как выюга выючила
груз снегов на плечи нам.
В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя,
где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1925

ЗАПЛЫВ

У тебя
 молодая рука;
пред тобою
 синее море.
Слушай мудрость
 и помни одну:
не стремись
 раньше срока
 ко дну.
Разве можно
 в мечтах изомлеть
на высокой
 на этой земле?
Разве можно
 тоской истекать
из-за каждого
 пустяка?
Если сердце
 и солнце
 теплы,
надо прыгать с размаху
 и плыть.
Рассекая
 вразлет эту тишь,

Ты ли
ласточкой
сверху летишь?
Легши на бок,
напрягши плечо, —
ты весь мир
за собою влечешь,
постепенно
волной овладев,
на воде,
на веселой воде...
Предо мной —
половина реки,
на меня —
еще лгут старики.
Помню мудрость
и знаю одну:
не итти
раньше срока
ко дну.
Не из прихоти,
не из причуд
я в стихе своем
сальто кручу, —
но мне страшно
в мечтах изомлеть
на высокой на этой земле.
Я не дамся
тоски пустяку
виснуть грузом
и ныть по стиху.
Легши на бок,
напрягши плечо,
я вперед уплываю
еще,
постепенно
волной овладев,

по веселой
и светлой воде.
И за мной,
не оставив следа,
завивает
воронки вода.

1927

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

За то, что наша сила
была, как жизнь, простой,
что наша песнь косила
молчанье и застой.

За то, что даль клубила
в нас помыслы — мечтой,
нас молодость любила.

За что, за что, за что!

О, серо-розоватый
рассветный час,
навек, навек сосватай
с весною нас.

Навек, навек сосватай,
соедини
с березою и мятой
стадные дни!

Что свежестью первичной
мы шли окружены,
что не было привычной
нам меры и цены.

За крепость и за смелость
в тревожные года,
за то, что громко пелось
всегда, всегда, всегда!

За то, что мы, от робких
пути поотрезав,
ловили в дальних сопках
напевы партизан,
за то, что мы не крылись,
меняя имена,
когда плыла у крылец
война, война, война!
О, серо-розоватый
вечерний час,
навек, навек сосватай
с весною нас,
навек, навек сосватай,
соедини
со свежестью несмятой
стальные дни!

1931

ЭСТАФЕТА

Что же мы, что же мы,
неужто ж размоложены?
Неужто ж нашей юности
конец пришел?

Неужто ж мы — седыми —
сквозь зубы зацедили,
Неужто ж мы не сможем
разогнать прыжок?

А нуте-ка, тикайте,
на этом перекате
пускай не остановится
такой разбег...

Еще ведь нам не сорок,
еще зрачок наш зорок,
еще мы не засели
на печи в избе!

А ну-ка, все лавиной
на двадцать с половиной;
ветрами нашей бури
напрямик качнем.

На этом перегоне
никто нас не догонит.

Давай? Давай!
Давай начнем!

Что же мы, что же мы,
неужто ж заморожены,
неужто ж нам положено
на месте стать?

А ну-ка каблуками
махнем за облаками,
а ну, опять во все глаза
сиять-блистать!

Давайте перемолвим
Безмолвье синих молний,
давайте снова новое
любить начнем...

Чтоб жизнь опять сначала,
как море, закачала.

Давай? Давай!
Давай начнем!

1928

КРЫЛЪЯ ВРЕМЕНИ

В дѣтстве,
в мальчишестве,
верить не смея, —
как он там держится?
и отчего? —
мы запускали
воздушного змея,
кисть обжигавшего
нам бечевой.
Дранки готовили,
клейстер варили,
свежую рвали рогожу —
на хвост.
Эти непрочные
эскадрильи
в небо тянули
наш глаз
и наш рост.
Главное ж
было — в трещотке...
Трещала
так завлекательно
в небе она, —

будто клялась нам
и обещала,
что будет пустыня
заселена.

Нет,
не воздушные замки мы строили,
не был порыв молодой
бестолков, —
низки нам были
убогие кровли
плоско надвинувшихся
потолков.

Мы забирались,
ликуя, на крыши;
эмея держать —
затекала рука. . .

Нам же хотелось,
чтоб выше и выше
он уходил бы
за облака!

Детская радость
в глазах не потушена:
рты и зрачки
запрокинувши вверх,
снова и снова
сбираемся в Тушино —
видеть воздушный,
стальной фейерверк.

Плечи с плечами
и локоть — о локти:
знаем, как держатся
и для чего
подняты,
мчат в нарастающем рокоте
воли натянутой
бечевой.

Неотразимой,
стремительной силою

неисчерпаемая
до дна, —
гордая,
смелая,
ширококрылая,
небом владеющая
страна!

1935

ТОПОР, ПИЛА И ЛОПАТА

Уважаемые ребята!
Я вам искренно говорю, —
что топор, пила и лопата
любят утреннюю зарю.

Освещает она на совесть
их сияющие дела,
и блестят они, запунцовясь, —
лопата,

топор

и пила.

Приглядевшись ко всем умельцам,
чей размах так широк и спор, —
ты их сам ухватить осмелся, —
лопату,

пилу

и топор.

Чтоб, освоив эти орудья, —
приложения свежих сил, —
налегал на лопату грудью,
за плечо

топор заносил,
чтобы плавно пила ходила,

чтобы в деле
ты был упрям,
чтобы жизни живая сила
поднимала тебя по утрам,
чтобы строить мир,
а не портить, —
я к чему разговор веду! —
Чтобы сызмалу приохотить,
приспособить себя
к труду.
Вот поэтому-то, ребята,
я вам искренно говорю,
что топор,
пила
и лопата
славят утреннюю зарю.

1946

ДЕТИ НА ТАНКЕ

Вот что я видел
Первого Мая:
улицей Горького,
на парад,
толстые дула
к небу вздымая,
тяжелые танки
двигались в ряд.

Вдруг, один из них,
выйдя из строя,
остановился,
затормозив. . .
Огнедыщащею горою
врос в мостовую
стальной массив.

В майском волнении,
среди флагов и звуков,
стал волнорезом
людской реки. . .
Повылезали
танкисты из люков —
широкогрудые здоровяки.

Мать к одному
поднимает сынишку, —
Все, что имею, мол, —
все, что храню!
Тот подхватил парнишку
подмышки
и бережно
опустил на броню.

И — уж не знаю,
как это случилось, —
может быть, чудо
весенней поры,
но через пять минут
оказалась
танка площадка
полна детворы.

Лезли,
хватались за скобы,
за дужки,
в люки заглядывали
не дыша:
сроду такие большие игрушки
сердца не радовали
малыша!

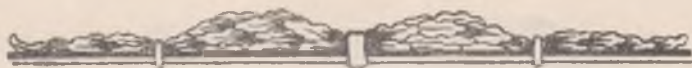
Сталью башен
стал танк не страшен,
не таил боевых угроз, —
так глазенками их
разукрашен,
так их щебетом
весь оброс!

Может быть, это
был непорядок,
может, вопрос я решаю

сплеча,
но для того
и гремят на парадах
танки,
гусеницами скрежеща,
чтобы — повсюду —
да будет так,
пусть происходит везде
на свете:
чтобы взбирались, смеясь,
на танк —
этим же танком
спасенные дети!

1946

СТИХИ О МАЯКОВСКОМ



ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
куцых суток
ты звал меня
в свой дом!..
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив.
Бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот

голос,
 меня сотрясающий,
 слышу.
Крупны,
 тяжелы,
 солони на вкус
раздельных слов
 отборные зерна,
и я
 прорастить их
 слезами пекусь
и чувствую —
 плакать теперь
 не позорно.
От гроба
 в страхе
 не убегу:
реальный,
 постусторонний,
я сберегу
 их гул
 в мозгу,
что им
 навек заробен:
«Мой дом теперь
 не там, на Лубянском,
и не в переулке
 Гендриковом;
довольно
 тревожиться
 и улыбаться
и слыть
 игроком
 и ветренником.
Мой дом теперь —
 далеко и близко,
подножная пыль
 и зазвездная даль;

ты можешь
с ресницы его обрызгать
и все-таки —
никогда не увидеть».

Сказал,
и — гул ли оркестра замолк,
или губы — чугун —
на замок.

Владимир Владимирович,
прости — не пойму,
от горя —
мышление туго.

Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.

Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.

И слышу:
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима..
«Слушай!

Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если
плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.

Утри глаза
и узнать сумеи
родные черты
моих семей.

Они везде,
 где труд и учет,
 куда б ни шагнул
 и пошел ты;
 мой кровный тот —
 чья воля течет
 не в шлюз
 лихорадки желтой.
 Ко мне теперь
 вся земля приближена,
 я землю
 держу за края.
 И где б
 ни виднелась
 рабья хижина,
 она —
 родная, моя.
 Я ночь бужу,
 молчанье нарушив,
 коверкая
 стран слова,
 я ей ору:
 берись за оружие,
 пора,
 поднимайся,
 вставай!
 Переселясь
 в просторы истории,
 перешагнув
 за жизни межу,
 не славы забочусь
 о выпрленном вздоре я,—
 дыханьем мильонов
 дышу и грожу.
 Я так свои глаза
 расширил,

что их
 даже облако
 не заслонит,
 чтоб чуяли
 щелки, заплывшие в жире,
 что зоркостью
 я
 знаменит.
 Я слышу, —
 с моих стихотворных орбит
 крепчает
 плечо твое хрупкое:
 ты в каждую мелочь
 нашей борьбы
 взглядишь,
 не забыв про крупное.
 Пусть будет тебе
 дорога одна —
 где резкой ясности
 истина,
 что всем
 пролетарским подошвам
 родна
 и неповторима
 единственно.
 Спешь на нее
 и крепче держись
 вплотную
 с теми,
 чье право на жизнь.
 Еврей ли,
 китаец,
 негр ли,
 русский ли, —
 взглянув на него,
 не бочись,
 не лукавь.

Лишь там оправданье,
 где прочные мускулы
в накрепко сжатых
 в работе руках.
Если же ты,
 Асеев Колька,
которого я
 любил и жалел,
отступишь хоть эстолько,
 хоть полстолько,
очутишься
 в межпереходном жулье;
если попробуешь
 умещаться,
жизни похлебку
 кой-как дохлебав,
под мраморной задницею
 мещанства,
на их
 доходных
 в меру хлебах,
если ослабнешь
 хотя б немножко,
сдашь,
 заюлишь,
 отшатнешься назад —
погибнешь,
 свернувшись,
 как мелкая мошка,
в мух —
 рабочих
 всесветных глазах.

Мне и за гробом
 придется драться,
мне и из праха
 придется крыть:

вон они —

некоторые

в демонстрации

медленно

проявляют прыть.

Их с места

сорвал

всеобщий поток,

понес

из подкорья рачьего,

они спешат

подвести мне итог,

чтоб вновь

назад поворачивать.

То ли в радости,

то ли в печали,

панихиду

по мне отзвонив,

обо мне, —

как при жизни молчали,

так и по смерти

оглохнут они.

За ихней тенью,

копя плевки, —

и, что

всего отвратительней, —

на взгляд простецкий,

правы и ловки —

двудушья

тайных вредителей.

Не дай им

урну мою

оплюнуть,

зови товарищей

смело и громко.

Бригада, в цепи!

На помощь, юность!

Дорогу
ко мне
моему потомку!
Хочешь знать,
как дошел до крайности?
Вся жизнь —
в огневых атаках
и спорах,
долго ли
на пол
с размаху грянуться,
если под сердцем
не пыль, а порох!
Пусть никто
никогда
мою смерть
(голос тише —
уши грубей),
кто меня любит,
пусть не смеет
брать ее...
в образец себе.
Седей за меня,
головенка русая,
на страхи бывшие
глазок не пяль
и помни:
поэзия есть революция,
а не производство
искусственных пальм»

Смотрю
на тучу
пальто поношенных,
на сапогов
многое множеств...
Нет!

Он не остался
 один-одинешенек.
И тише
 разлуки тревогой
 тревожусь.
Небо,
 которое нелюдимо,
вечер
 в мелкую звезду оковал,
и — две полосы
 уходящего дыма,
как два раскинутые рукава.

1930

МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

Глава I

МАЯКОВСКИЙ ИЗДАЛИ

«Вам ли понять,
почему я
спокойный
насмешек грозою
душу па блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекала неспущенной слезою,
я,
быть может,
последний поэт».

Владимир Маяковский, *«Трилогия»*.

К чему начинать
историю снова?
Не пачкай бумаги
и время не трать!
Но где же оно —
первородное слово,
которое сладко
сто раз повторять?
Теперь —
эти всеми забытые встречи,
рассвет наших взглядов
и рань голосов,
едва повернувшись,

далеко-далече
откинуло времени колесо.
Тогда еще
чудо слыло монопланом,
бульварами
конка тащилась звеня,
и головы,
масленные конопляным
в кружок, окружали
повсюду меня.
Москва грохотала
тоскою булыжной,
на дутых
катили тузы по Тверской —
торговой смекалкой
да прищурью книжной
да
рыжей премудростью шулерской.

Зеркальными гранями
вывеска к вывеске;
подъезды,
засунутые на засов,
и нищих,
роящихся раной у Иверской —
обрубки и струлья
и дыры носов.
А там,
где снега от заката зардели,
где цепью гремели
мордатые псы, —
в лоскутное небо
вперяли бордели
закрытые ставни — как бельма слепцы.

Солидные плеши,
тугие утробы,
алмазные цепи,

блистанье крестов...
В сиянии люстры,
в мерцаньи сугробы:
земной и небесный
сверкает престол.
Империя!
Ты отдала нам плечи.
Мы скинули тяжесть
тупого ребра:
свинцовые склепы,
пудовые свечи,
лабазы
и склады
лихого добра.
Таков был пейзаж,
что совался
постыло
повсюду нам в уши,
в глаза
и в сердца;
казалось,
что семя ничто не растило,
что время
застыло в сугробах мерцать.

В ряды их калашные
к рылам суконным
не лез я;
к их истинам прописным
не жался;
их толстым слежалым законам
не верил.
Тогда-то
я встретился с ним.
Он шел по бульвару,
худой
и плечистый,
возникший откуда-то сразу,

извне,
высокий, как знамя,
взметенное
в чистой
июньской
несношенной голубизне.

Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.
Черты были крупны,
глаза были яркие,
и темень волос
припадала к лицу,
а руки —
тяжелые,
будто подарки
ладонями кверху
несли на весу.

Какой-то
гордящийся новой породой,
отмеченный
раньше не бывшей красой,
весь широкоглазый
и ширококоротый,
как горы,
умытые насвеж росой...
Я глянул:
откуда такие берутся?
Крутой и открытый
с затылка до пят...
Быть может, с Казбека
или с Эльбруса

так —
тело распластывает водопад?
Тревожный,
насмешливый
и любопытный,
весь нерастворимый
на глаз
и на слух,
он враз отличался
какой-то
обидной
чертой превосходства
над всем, что вокруг.

Казалось,
что каждая шутка
и шалость
всерьез задевала
по сердцу — одним,
другие
с ним спорили и не соглашались
и все-таки
вслед семенили за ним.
Он взвил позвоночником
флейту на споры,
он полон был самых неожиданных
затей,

он явно из сказки
из той был,
что в горы
уводит
нечестных сограждан — детей.
Сограждане ж
были на совесть
добротны;
закат был —
что иконостас — золотист.
И как им понять было,

что в оборотней
детей превращать
начинает флейтист?!

Был девятьсот пятый
засвистан, затоптан,
затерт
и засален по лавкам менял;
и в розницу предан,
и продан был оптом
и заслан —
куда и Макар не гонял.

То пастырь Кронштадтский,
то Саровский инок
взмывали
в лученьи крестов и вериг...
Индусских учений
обложки — в витринах,
и тусклые блески
огарочьих лиг.
Глаза были
плотно залеплены клейстером
наследственных прав
и жандармских облав.
Картины
слеем
выписывал Нестеров
из мироточивых
сочившихся глав.
Вы помните это:
«Медведь и отшельник»,
пчелиных роев
примиренческий гул...
И было неясно:
медведь ли мошенник,
мохнатого ль старец
на меде надул?

А рядом —
менады, наяды, дриады!
Царь Федор Иванович,
шаляпинский туш,
концерты, концерны,
поставки, подряды...
Взярилась
российская дикая глушь.
Их мануфактурных
да бакалейных
торговых домов
поднимались ряды;
и тщето,
казалось,
прошли в поколениях
«Былое и думы» —
следы и труды.
Теперь
Остроумовых
да Востряковых
английским прибором
открылась тропа.
А те,
что
Владимирским трактом
в оковах
пылили,—
в потемки ушли,
запропав.
Бороться с торгашьей
лощеною шайкой?
Сражаться
с их Китайгородской
стеной?!
И красное знамя
белесою чайкой
на сереньком занавесе
заменено.

Тогда —
вперерез,
ни минуты не мешкав,
в ответ их блудливым
пожатиям плеч,
в ответ ликвидаторским
кислым усмешкам
рванулась
сухая, горячая речь.
Но речь эта
в пальцах подпольных,
как порох,
чернела
на тонких рабочих листках,
взрываясь
в партийных
разросшихся спорах,
не всем
и доступна была
и близка.

Всей будничной
обыденщиной быта
от праздных,
пустых,
наблюдающих глаз
подполье партийное
было укрыто,
как шубой,
широким сочувствием масс.
И если в тиши,
опасаясь провала,
синеющие
по-весеннему дни
машинка гектографа
копировала,
не всякому
в руки давались они,

Угрюмый зрачок
чрезвычайной охраны,
морозящий оползень
шарящих рук...
И Блок
Незнакомку уводит во храмы
нечаянной радости —
вызвенеть звук.
А вровень
душеспасательным догмам,
гастролям Кубелика,
дыму кадил
скулил в Камергерском
расстроенный Штокман,
и Сольнес-строитель
на башню всходил.
Да что там Кубелик,
и что там их Ибсен?
Широкой натуре
войти только в раж:
Гогена с Матиссом —
Морозовым выписан
вагон!
Чтобы москвич открывал вернисаж.
Пусть краски их пышут,
не глядя на зиму,
пусть всюду звенит
наш малиновый звон,
сюда,
к семихолмному
третьему Риму
приидут языцы
мошне на поклон!
Символики приторной
липкая патока,
о небе в алмазах
бессильная грусть,
а рядом

озимых
заплата к заплатке —
двужильная
да двухпольная Русь.
А рядом
огромен,
угрюм,
неуютен
край гиблых снегов
да подсошных земель.
И вот он —
оттуда
приходит Распутин
и валит империю
на постель!

Глава II ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ

«В детстве, может,
на самом дне
с десять сыщется
сносных дней».

Маяковский, „Про это“.

Но это —
не думай —
еще не паденье;
силен еще
взмет усмирительных грив,
московских окраин
глухое гуденье,
но это —
еще накипанье, —
не взрыв.
Парами наполненная
наполовину,
чуть приподымавшая
крышку котла,
кипела московская котловина,

Россию прожегшая
в Пятом
до тла.

Начальство
не гладило по головке,
но небо синело
и солнце пекло:
весной
по лесам
зацветали маевки,
гармонь голосила,
звенело стекло.

Тогда-то
сюда перебралось семейство
из-под Кутаиса —
брат, сестры и мать.
Конечно — побольше достаток
имейся —
не стали б
на Пресне
подвал нанимать.

Там —
в Грузии светлой —
как барсова шкура
пятнистые горы
желтеют вдали:
здесь
только Трехгорная мануфактура
с трудом
поднимается от земли.

Здесь —
все по-иному —
слова и объемы
разверстанных чувств,
привилегий,
постов;

здесь горы —
названием Воробьевы —
топорщат горбы
невысоких пластов.

Народ сохраняет оценки и клички
в названьях,
данных хотя б не всерьез,
народа приметы,
народа привычки —
как оспины
низко пронесшихся гроз.

Так,
все здесь из сердца
высокое
выкинь,
здесь плоскости
и низкопоклонству
почет.
Ханжонков здесь властвует
и Неуссихин;
Поганка-речонка
под почвой течет.

Здесь —
низкое солнце
из хмари рассветной
тускнеет в волокнах
седых паутин;
здесь —
не указывает перстом своим Тетнульд
бездонную глубь
человечьих путин.

Здесь —
звезды
отсчитаны на копейки
и за воду

платит по ведрам район;
а там, —
если волны,
без всякой опеки,
а звезды —
так падают прямо в Рион!
И голову
здесь задерет ли затея,
такие унылые видя места, —
как к Хвамли,
прикованному Прометею,
до самого солнца
рукою достать?

Впервой
над Ламаншем
взвывается Блерио...
Мы плямися,
хмуро скрививши губу,
и сукна и мысли
аршинами меряя:
в полет вылетать?
Не желаем — в трубу!
Напрасно
подняться старается Уточкин...
— Пушай отличается в этом Париж!
— Купец не пойдет
на подобные шуточки:
пускать капиталы на воздух...
— Шалишь!

А впрочем,
что толку в летательном зуде?
С ним век просидишь
в затрапезном углу.
Отец схоронен.
Выходить надо в люди.
Заплатами

мать начищает иглу.
На сердце
копытом ступает забота.
Померкни
и плечи ссутуль и согни!..
Но он вспоминает
забытое что-то,
какие-то выстрелы
крики, огни.

Миндаль в Кутаисе
торжественно розов...
Едва наступает
цветенья число, —
дуреют с восторга
гудки паровозов,
и кажется
небо на землю сошло.
Под небом таким
не согнешься дугою:
здесь —
грудь разверни
и до донца дыши.
В такое —
растешь
и повадкой тугою
и взором
и каждым движеньем души.
Так рос он,
задира и затевало,
с башкою — на звезды,
с грозой — на дому,
и первые знанья
преподавала
сестра Джапаридзе Алеши
ему.
Так славься ж,

глухое селенье Багдади!
Тяжелые грозди,
орешник и граб,
принесшие горсти
такой благодати,
такой открывавшие
глазу масштаб.
Так славьтесь же,
люди вселой долины,
дышавшие
мужеством и прямотой;
и вы,
неподкупные гор исполины,
лицо обдававшие
свежей водой!

Но слава еще далека...
И, сощурия
глазенки,
он солнце вбирает за нас;
он влазит
в огромные жерла чуури
опробовать
голоса резонанс.
И гулко трубят
глинобитные недра,
и слушают уши
предгорных пород
о том, как
«... суров был король дон Педро»
и как «... трепетал его народ!»
Ответрилось детство
в садах Имеретии...
Под сердцем
навек гроза затаись;
и девятьсот пятого залпами
встретили
подростка —

гимназии и Кутаис.
 Он дружбу ведет
 с громовыми ударами.
 Он чем-то заполнен
 и затаен.
 Он помнит,
 как Гурия билась с жандармами,
 как против царя
 бунтовал батальон.
 Он ветром восстаний
 спеленут и выпоен;
 он слышал
 свободы горячую речь:
 он ищет
 на Пресне
 отметин и выбоин,
 какие
 в горах
 просверлила картечь.

Глава III ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Занятий у юношества
 масса.
 Грамматике учим
 дурней и дур мы.
 Меня ж
 из пятого вышибли класса,
 пошли швырять
 в московские тюрьмы.

Маяковский, „Люблю“.

Лошадь упала, упала лошадь...

*Маяковский, „Хорошее припомнение
к лошадям“.*

Не мед с молоком — положенье
 вдовье.

Поймешь и научишься,
 что и к чему.
 «Отец нам в наследство
 оставил здоровье

и образование», —
решили в дому.
Но образование
тоже хромало:
был вышиблен
из гимназии сын,
когда громоглавые
девятого вала
оттрянуло
в эхе кавказских вершин.
В обед не останется
лишняя корка. . .
Росли без особых надзоров
и нянь;
сестру приняла на работу
Трехгорка —
узор рисовать
на дешевую ткань.
Не даром
на Пресне
искали квартирку —
здесь день
начинался не позже семи:
направо — Трехгорка,
налево — Бутырки:
удобно
для небогатой семьи!
Вторая
устроилась
на почтамте.
Он вырос,
труду и нужде
недалек.
О горах мечтал он,
но горным мечтам тем
пределом
был низенький потолок.

В семействе,
чтоб сахар на лишнюю кружку
хватал,
да не пялилось дно у корзины,
сдавали задешево
комнатушку
шумливым кочевьям
студентов-грузин.
То были
отпетые революционеры,
едва ль
теоретики
и вожаки:
враспашку рубашки,
вразмашку манеры,
небритые скулы
запавшей щеки.
Они были раньше
по семьям знакомы
и близки
по блеску сияющих глаз,
и с ними
вплотную водился, —
о ком мы
ведем
свой невыдуманный рассказ.

Он строки запомнил:
что — «годы и годы
нужны, чтобы снова
страну раскачать».
Что ж делать?
Семье ли умножить доходы?
В партийную ль
закопаться печать?
Он чувствовал
нетерпеливую силу,
которая надвое душу рвала,

которая тайной
остаться просила
и на-люди
выброситься звала.
Он начал стихами:
«Закат над заводом
пылает!»
Но обыск семейство постиг,
и пристав блистательный
был этим одам
редактором первым
в Суцневской части.

Как бусы —
один к одному денечки
земной ожерельем
увешали шар,
а ты
посиди, охладись в одиночке,
смири свою молодость,
радостность, жар.
Тюремная музыка ржавого лязга,
карболовый запах
запятнанных стен, —
такой была
первая робкая ласка,
идиллия юных
лирических сцен.
Он много там думал.
И мир раскрывался
ему —
не жемчужною шуткой Ватто,
не музыкой
Штрауссовского вальса,
а тенью решетки перевитой.
Он много читал там.
И старые басни
не шли к его наново взятой

судьбе,
и жизнь толковалась
сложней и опасней,
и дни надвигались
тесней и грубей.

Стихи и брошюры,
Некрасов и Бебель,
тюремных проверок
вседневная явь;
не хочешь попасть
в эту нежить
и небыль, —
возьми себя в руки,
мозги себе вправь.
Ему присылали открытки —
Билибин:
узорные блюда, каличий костыль,
он их перечитывал
безулыбен,
вдвойне ненавидя
их паточный стиль.
Они
здесь
вдвойне ему были похабны,
искусства,
допущенного в тюрьме,
собольи опушки,
секиры,
охабни:
весь ложно-народничий
ассортимент.

А люди вокруг
торговали, служили,
и каждый из них
что-то смел и умел:
им бабушки знатные
ворожили,

им слава сияла,
и город шумел.
И вот он выходит.
Но что это за люди?
Хоть глуп, да богат,
хоть подлец, да делец.
С такими
скорее, чем брюки, засалите
всю юность
об жир их обвисших телес.
Такие —
с пеленок,
от самой купели
и вплоть до отхода
в последний ко сну —
считали, тупели,
копили, скупели,
превыше всего
почитая казну.
С такими
молчать,
обвыкать,
хороводиться?
Сносить их полтинничный
град оплеух?
Так пусть уж живот
подведет безработица,
чем блеск их зубов,
их искусств, их наук!
Москва колотила
в булыжник копытами,
клубилась в дымках
подгородних равнин,
шумела,
гремела грошами добытыми,
поты выжимая
из мастеровни.
И вот он выходит:

большой, длиннопалый,
обрызганный
ледниковым дождем,
под широкополой,
обвиснувшей шляпой,
под
выложенным нищетою плащом.
Вокруг никого.
Лишь тюрьма за плечами.
Фонарь к фонарю.

За душой — ни гроша...
Лишь пахнет Москва
горячо калачами,
да падает лошадь,
боками дыша.

Глава IV ПРОБА ГОЛОСА

Окном слуховым
внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в
уши я?

А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

Маяковский, „Люблю“.

Едва углядев
это юное пугало,
учуяв, как свеж он
и как моложав,
Москва зашипела, завывала, заухала,
листовым железом
тревогу заржав.

Она поняла —
трехсотлетняя выжига —

что этот
не из ее удалцов;
что дай ему только
бульварами вышагать,
и жаром займется
Садовых кольцо.
Она разглядела,
какие химеры
роются
в рискованном этом мозгу...
И ну принимать
чрезвычайные меры:
кружение и грохот,
азарт
и разгул.
Она угадала,
что блеском жожацким —
лишь дай замахнуться
перу-топору —
поедут по площади
Мишип с Пожарским
и вкось закачается
Спас на Бору.
Лишь дай
его громкосердечной замашке
дойти
до лампадного быта — жирка,
все Вшивые горки
и Сивцевы вражки
пойдут вверх тормашки
в века кувыркать!

Тут — первогильдейский
в ореховой раме
милльон подбирает
не дурой-губой,
а этот —
сговаривается с флюгерами

и дружбу ведет
с водосточной трубой.
Тут —
чуйки подрезывать
фрачным фасоном,
к Европе равняться
на сотни ладов,
а этот —
прислушивается к перезвонам
идущих до сердца страны
проводов.

Она поняла,
что такого не выместить,
не вжать, не утиснуть
в обычный объем,
что этакой ярости
и непримиримости
не взять, не купить,
ни дубьем, ни рублем.
Что как ни стругай его, —
гладок и вылощен,
не сядет он с краю
за жирный пирог...
И вот его
в Строгановское училище
засунула:
в сумрак,
в холсты,
за порог.

Авось! —
полагала премудрая старица, —
как там ни задирист он,
как ни высок, —
в художествах наших
он сам переварится

и красками выпустит
выдумок сок!

Бросай под шаги ему
камни и бревна,
глуши его
в звон сорока-сороков,
чтоб елось не сытно,
чтоб шлялось неровно,
чтоб спалось
не сладко и не глубоко.
Но нет,
не согнуть его выдумке немощной
и будущностью
не сманить на заказ,
и если наряд
выполащивать не на что,
он рвет на рубаху
московский закат.
И желтая кофта
пылает под ночью
топочущей тупо
толпы сюртуков;
и всюду мелькают
веселые ключья,
и голос глушит
перезвон пятаков.

(Но стоп!
Вы вперед забежали в азарте;
перо обсушите
и спрячьте в ножины;
вы повесть
на мелочь не разбазарьте,
хотя и детали
здесь кровно важны).
Светлее, чем профессора
и начальники,

плетушие
серенькой выучки сеть,
ему
улыбаются маки
на чайнике,
и свежестью светится
с вывески сельдь...
Он все это яркое
взвихрил бы разом;
он уличной жизнью
и гулом влеком...

И тут он знакомится
с одноглазым,
квадратным
и яростным Бурлюком.

То смесь была
странного вкуса и сорта
из магмы
еще не остывших светил;
рожденный по виду
для бокса,
для спорта,
он
тонким искусствам
себя посвятил.
Искусственный глаз
прикрывался лорнеткой,
в сарказме изогнутый рот
напевал,
казалось, учтивое что-то;
но едкой
насмешкой
умел убивать наповал.
Они повстречались в училище.
Сказку

об них бы писать,
а не повесть плести. . .

И младший
заметил, что чрез одноглазку
тот многое мог примечать на пути.
Пошли разговоры,
иллюзии, планы,
в чем крепость искусства,
порыв и успех. . .
Годов забродивших кипением пьяны,
они походить не желали
на всех.

Тогда
новолуьем восходил Северянин,
опаловой дымкой
болото прикрыв.
Нет!
не мастахином в зубах коньянья —
искусство, —
они порешили, —
а взрыв!
И въявь убедившись,
что их не пригнуло,
что ими украшен
не будет мильон,
училище
их из себя изрыгнуло —
двух сразу —
не вынес Кит Китыч-Ион. . .
Однажды. . .
Из памяти выпала дата, —
не мало ночами
бродилось двоим, —
они направлялись
к знакомым куда-то,
к сочувственникам

и прозелитам своим.
... — А знаете, Додя!
Припомнилось кстати...
Один мой,
не любящий книг и чернил,
во время отсидок в Бутырках
приятель
неглупый,
послушайте, что сочинил:
...Багровый и белый...
как голос раскатист.
...Отброшен и скомкан...
как тепел и чист.
...А темным...
Скорее к нему приласкайтесь.
...Ладоням...
Скорей это время случись!
Какою огромною мощью
наполненный,
волна его
рябь переулков дробит...
В нем —
горечь недавних разгромов Японией
и грохот
гражданских неконченных битв.

Какой-то прохожий
на повороте
шарахнулся в сумрак,
подумавши: бред!
Бурлюк обернулся:
— Во-первых, вы врете!
Вы — автор!
И вы — гениальный поэт!
При входе
с порога,
прямяя в надменности,
взревел,

словно бронзу впечатавши в воск:

— Мой друг,
величайший поэт современности,
Владимир Владимирович
Маяковский.

Себя на века
утвердив в эрудитах,
лорнетку, как вызов,
вкруг пальца завил:
— Теперь вы, Володичка,
не подведите —
старайтесь.

Ведь я вас уже объявил!
С того началось.
Политехникум, диспут,
подвески вспотевшие
люстровых призм.
Москва не смогла
залечь их и выспать, —
езде на афишах в сажень:
Ф у т у р и з м.

И вот обнаженные,
как на отрогах
осыпавшихся —
на картинах без рам —
бегущие сгустки
людей многоногих,
открытая внутренность
будущих драм,
смещенные плоскости,
взрытые чувства,
домов покачнувшихся
свежий излом;
вся ярость спектра,
вся яркость искусства,
которому
в жизни не повезло.

Газеты орали:
«Их кисти — стамески!»
У критиков спазмы:
«Табун без удил!»
К ним вскоре
присоединился Каменский,
Крученных в истерику
зал приводил.

Что объединяло их?
— Ненависть к сытым,
к напыщенной позе
душонок пустых,
к устою,
к укладу,
к отсеянному ситом
привычкам,
приличиям,
правилам их.

Он был среди них,
очумелых от молний,
шарахнувших в Пятом
с Потемкинских рей;
он чем-то серьезным
их споры наполнил,
укрывшись
под желтую кофтой своей.
В них все —
и неслыханность пестрой одежды,
несдержанность жестов,
несогнутость плеч, —
за ними
толпою поток молодежи,
а против них —
«Русское Слово»
и «Речь».
Но все ж

футуризм не пристал к нему плотно;
ему предстояла
дорога — не та;
их пестрые выкрики, песни, полотна
кружила истерика
и пустота:
искусство, разобранное
на пружинки,
железо империи
евшая ржа,
в вольерах искусства
прыжки и ужимки
«взбешенного мелкого буржуа».

Но все это
сделалось ясно-понятно
гораздо позднее
и гораздо грозней.
Тогда же
мелькали неясные пятна
во всей
этой пестрой, веселой возне.
Москва разгадала,
Москва понимала,
что нет на таких
ни кольца, ни гвоздя,
но люди
не чувствовали нисколько,
какая меж них
замелькала звезда.
И вот,
пошущукавшись по моленному,
пошире открывши
ворота застав, —
она его вышвырнула
коленом,
афишами
по стране распластав.

Глава V

ОТЦЫ И ДЕТИ

Теперь
начать о Крученых главу бы,
да страшно:
завоеет журнальная знать...
Глядишь —
и читатель пойдет на убыль,
а жаль:
о Крученых надо бы знать!
Кто помнит теперь
о царевой России?
О сером уезде,
о хамстве господ?
А эти —
по ней
вчетвером колесили
и видели
самый горелый испод.
И въелось в Крученыха
злое лихо
непомнящих роду
пьянчуг,
замарах...
Прочтите
лубочную «Дуньку-Рубиху»
и «Случай с контрагентом
в номерах».
Вы скажете —
это не литература!
Без супер-обложек
и супер-идей.
Вглядитесь —
там прошлая века натура
ползучих.

приплюснутых, плоских людей.
Там страшная
простонародная сказка
в угарном удушьи
бревенчатых стен,
попынная жалоба
ветра-подпаска
с кудрями,
зажатыми промеж колен.
Там все:
и острожная сентиментальность,
и едкая,
серая соль языка,
который привешен,
не праздню болтаясь,
а время свидетельствовать
на века.

Наклеят:
— он мелкобуржуазной стихии
лазейку тайком
прорывает в марксизм...
Плохие чтецы вы,
и люди плохие,
как стиль ваш ни пышен,
и вид — ни форсист.
Вы тайно
под спудом смакуете Джойса:
и гнил, дескать, в меру,
и остр ананас...
А то, что в Крученых
жар-птицею жжется,
совсем не про это,
совсем не про нас.

Нет, врете!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом

прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,
с приросшею к скважине
мочкой ушей.

Ловчитесь,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей, —
весь круг мирозданья
сводящих к цитате, —
подросших
лабазниковых сыновей.

Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,
сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей,
вы — бредом припомнитесь,
точно педолог,
расти не пускавший
советских детей.

К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы прочно привержены
к классике форм,
и, стоя
у «Красной нови», у кормила,
решили, что

корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;
ваш пафос
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?
Он примется
с шумом цитаты листать;
его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!

Так вот,
у таких и отцы были слизни,
их души тревожил
лишь шелест кушей.
А Вася Каменский —
возьми, да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же!
Разбой! Нигилисты!
Они против наших музеев и книг!
Одни — даже —
модный профессор речистый
«явление антихриста»
выявил в них.
А свист был веселый,
заливистый, резкий,
как нос ни ворочай,
куда ни беги,

он рвался за ставни,
за занавески,
дразня их:
«комолые утюги!»
Тот свист был —
всему прожитому до реди,
всему
пережеванному на зубах,
всему, что сваялось
в родные,
в соседи,
что пылью крутилось
в дорожных клубах.

Как вам рассказать
о тогдашней России?
Отец мой
был агентом страховым,
уездом
пузатые сивки трусили,
и дом упирался в поля —
слуховым.
И в самое детство
забытое, раннее
— я помню —
везде окружали меня
жестянки овальные:
«Страхование
Российского общества
от огня».
Слова у отца непонятны; как —
полисы,
как дебет и кредит,
баланс
и казна...
И я от них бегал
и прятался по лесу,

и в козны
с мальчишками дул до поздна.
А ночью
набат ударял...
И на голых
плечах, что сбегались,
спросонья дрожа,
пустивши приплясывать
огненный сполох,
в полнеба плечом
упирался пожар.
Я видел,
как бревна обняв и облапив
и щеки мещанок
зацеловав,
прервав стопудовые
зловещего храпа,
коробит огонь
жестяные слова
«Российского общества»;
плавилась краска,
угрюмые
рушились этажи,
и все это было,
как страшная сказка,
которую
хочется пережить.

Я вырос
и стал бы, пожалуй, юристом.
А может — бандитом,
а может — врачом.
Но резкого зарева
блеском огнистым
я с детства был
взбужден
и облучен.

И первые слухи
о новом искусстве
мне в сердце толкнули,
как окрик, — «Горим!»
В ответ им
безличье, безлюдье, безвкусье, —
ничей с ними голос
не соизмерим.
В ответ им
беззубый,
безлюбой,
столетний
профессорски старческий вышамк —
назад!
В ответ им
унылой
слюнявою сплетней
доценты с процентами вкупе
грозят.

Язычат огнями
их перья и кисти;
пестреет от красок
цыганский их стан,
а против
желтеют опавшие листья,
что стряхивают
Розанов и Левитан.

И тысячи
пламенной молодежи,
которая вечно
права и нова,
за ними идут,
отбивая ладоши,
глядеть,
как горят
жестяные слова!

Глава VI

ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА

Здесь город был,
бессмысленный город.
Маяковский.

Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой.
Люди
занимались самым
разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и яркой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.

Однажды он ехал,
запутавшись в путанице
колей, магистралей
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы — наедине —
и добрый, и нежный,
а на людях — грубы!»
В минутном молчаньи,
оледнев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:
«Хотите,
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —

хотите,
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»

Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим, любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы
ни прикасались легко,
скорей
сквозь буран он пробрался бы
снежный
по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.

Кто в том виноват?
Проследите по циклам.
Ни тот
и ни этот,
ни эта, ни та.
Но горло замолкло

и сердце поникло,
и щеки
свои изменили цвета.
Схватитесь за голову!
Как это вышло?
Себя разорить,
по кускам раздаря!
Срывайтесь со стен,
равнодушные числа,
ошибкою Гринвича
и календаря.
Враги закудахчут:
«Он это в Советском
Союзе
талант свой утратил на треть!»
Молчите!
Не вашим умам-недовескам
такого масштаба
дела рассмотреть!
Одесский конфликт
лишь по «Облаку» ведом.
Но что там ни думай
и как ни судачь,
в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не знал он удач,
В напоре,
привыкший
к ответным ударам,
по сборищам
мерявший звонкую речь, —
душою швыряться
привык он за даром
и комнатных слов
не сумел приберечь.
В толпе
аплодирующих и орущих

среди пароходов и доков —
в чести,
он был
как огромный натруженный грузчик,
не знающий,
как себя
в лодке вести.
На руль приналяжешь —
все море хоть выпень...
За весла возьмешься —
назад вороти!
Кружит и качает
всесветная кипень,
волна за кормой
и волна впереди.

Из города в город
Швыряло, мотало,
на отмели чувства
валило — несло.
И вот
посреди островов и кварталов
о Невский гранит
обломало весло.

Холодом бронзовела
Летнего сада ограда,
пик над Адмиралтейством
вылоснился, остер,
яснилась панорама
теперешнего Ленинграда,
тогдашнего Петербурга, —
холодный, пустой простор.
Здесь люди жили,
вежливо-глухи,
по пушке выравненные,
как на парад,
банкиры,

гвардейцы,
писатели,
шлюхи —
весь государственный
аппарат.
Торцы приглушали звуки.
Кругом залегли болота,
В тумане
влажнели ноздри
охранников и собак.
И скука сводила скулы,
как вежливая зевота,
в улыбку переходящая
на вышколенных губах.
Ты после узнал его
вооруженным,
когда он
в атаку,
по мокрым торцам,
лавиной Путиловского
и Гужона
пошел
на ощеренный череп Дворца!

Тогда же
спешили, жили,
каждый своей дорогою,
от Выборгской
до Дворцовой,
от нищего до туза,
и здесь протекало детство
в перспективе строгой
мальчика — «Оставь, не трогай»,
и девочки — «В ладонь глаза».

Обычного типа
их были ссмейства,

картин и портьер
прописные тона,
их жизнь
повторялась и длилась совместно,
как в зеркало зеркало,
стену стена.
Такие же тучи
клубились над нею,
такие ж обычаи,
правила,
дни,
хоть мальчик был
сдержанней и холоднее,
но вместе
от всех отличались они —
правдивостью, что ли,
и резкостью вкуса,
упорством характера,
ясностью глаз,
уменьем на вещи
не взглядывать куцо,
не ставить
на жизненном почерке клякс.
Бездонный провал Империи,
собор, засосанный тинной.
На седлах и на подпорках
качающийся закон,
и вздыбленный Медный Всадник, —
такую они картину
вседневно,
ежеминутно
могли наблюдать из окон.

И девочка выросла в девушку.
По складу схожи во многом, —
лишь глаз ее круглых и карих
больней по коже ожог...

В четырнадцать лет совместно
они покончили с богом,
и мальчик
среди одноклассников
вел марксистский кружок.
Листки календарные никли,
из девушки выросла женщина,
вкус к жизни,
к ее сердцевине,
был пробкой притерт как духи.
Они сообща ненавидели
чинушество и военщину.
Но что же любить прикажете?
Себя лишь самих да стихи?
Она б
и на баррикады не дрогнула,
и под своды
угрюмого равелина...
Но не было баррикад,
единственной баррикадой —
дымившие далью заводы,
свинцовым грузом привычек
от них отделяла река.

Они полюбили друг друга;
но разное
с родною рукой
обручилась рука.
Она его
навски —
яростно, грозно,
а он ее —
разумно,
ясно,
легко.
И это взаимное
разновесье,

молекул и атомов
взвихренный ход,
грозил
рассверкаться смертельною вестью
тому,
кто под тучу их крыши взойдет.

Что с ними случилось?

Общественный обруч
не смог уже сдерживать
бочку без дна:
семьи не устроишь,
судьбы не задобришь,
когда в ней
непрочная клепка видна.
И эти,
любившие с детства друг друга,
вск раньше —
и не было б лучше жены
и не было б мужа чудесней, —
из круга
им сродного
выбиты
и обречены!

И город
бездонных пучин и провалов
над ними,
как призрак,
маячил и стыл;
и мелкою зыбью
Нева целовала
его
разведенные на ночь
мосты.

Глава VII ЦЕНТР И ОКРАИНА

...Так вот и буду
в Летнем саду
пить
мой утренний кофе!
Милковский, „Человек“.

Вот каким был
этот город.
Чопорный
и надменный.
Город
холодных взглядов,
кариатид, дворцов.
Город казенных складов,
чувств
и монеты разменной,
где гробовщик надумал
в гости созвать
мертвецов.
Город —
кусоч Европы,
выколенный,
бесстыжий,
камнем на сердце легший.
камнем —
на грудь страны.
Город,
в котором выжить —
значило то же, что —
выжать,
где
проживешь — без славы
и пропадешь —
без вины.
Хмурый,
на финском взморьи,
тесанный
зорким зодчим,

полный
химер и бредней,
тонких сукон
и питей,
город
прямых проспектов,
не исключавших,
впрочем,
самых косых
душонок,
самых
кривых путей.
Выверенный впервые
в точности астробий,
выметнувший в туманы
взлет корабельных ростр,
выпяленный,
двуглавый
в небе —
орел остролапый,
выметнувшийся над миром
в полный Петровский рост.

Вот по таким проспектам
окаменелой славы,
оледенелой речи,
выправки неживой
шел
несогласный некто,
с выпрепшостью державы,
будущего разведчик,
времени сторожевой.

Искрились и сверкали
вспышки витрин
в тумане,
словно хотели вызнать,
выведать на свету, —
«сколько у вас

в запасе,
сколько у вас
в кармане,
сколько у вас пылает
радужных
на счету?»

Рифмы его сверкали
глубью
бездонных граней.
Мысли метались
дичью
не прирученных строк.
Будущего виденья
четче, чем на экране,
требовали ускорить
свой наступающий срок.
Тотчас при появлении
высчитан и расчислен
скупщиками валюты, —
в чем бы душа ни жива,
в чем бы ни билась мысль —
продано будет кому-то,
пущено на подкладку,
банты и кружева.

Как бы его обставить,
как бы его обжулить,
как бы его освоить,
выкроить,
утрясти?
Пасть на него развявить,
глаз на него сощурить,
выгоду —
тем утронуть,
этим — на-нет свести.
Эти
на Петроградской

мало стихов читали,
разве что песня
льнула
к Выборгской стороне...
Времени было — только
чтоб обточить детали
да от хозяйских штрафов
злобу
топить в вине.
Если ж
теснило душу
горечью стародавней,
выходы находились
в слове крутом, своем.
Хором летели в небо
саратовские страдания.
— Сами себе сложили,
сами себе споем!

Он их расслышал сразу, —
эти огромные
в малом
жанре
слова и чувства,
стиснутые взаперти.
Он облучал их глазом,
крылья ртом расправлял им,
только не знал —
от Нарвской,
с Выборгской ль подойти?
Нет! — Он решил. —
По центру
сразу ударить. В темя —
силою небывалых
слов, представлений, чувств.
Плохо искать в искусстве
прибыль,
процент к проценту.

Крупному разговору
сразу за них научусь!
Эти его не знали;
тусклое было время,
мало в оконце свету:
Как ему цену дашь?
Трется промежду теми
в кофте желтого цвету,
дышит,
чегой-то пишет, —
барская, видно, блажь!

Некогда объясняться!
Выиграть темп — и в гущу!
...Вздыбилось.
...Флаги.
...Смеяться.
Взрывом осколки слов...
Вот как он очутился
между жующих
и лгущих,
чмокающих тупеядцев,
тысячных наглесцов.

Литературной биржей,
биржи большой помельче,
был ресторанчик «Вена»,
пишущих лиц притон,
смесью цинизма
с желчью
вас обжигавший мгновенно,
всем
записным талантам
преподававший тон.
Входит:
«Привет, арапы!»
Пальцев сжимают кончик,
хором:

«Ура! За здравье!
Шел разговор о вас!
Нам бы у вас пора бы
выудить
фельетончик,
мы бы немедля
вам бы
выписали аванс».
Так на корню закупая
соду,
поташ,
галеты,
гениев и гондоны,
нежность и рыбий клей,
чавкала туша тупая,
переводя
на котлеты
все, что имеет цену
для большинства людей.

А у него
лишь — кофты
яркость,
да ясность взгляда,
да еще —
точно из тучи
низко плывущий гром.
Чорт его знает, впрочем...
Может,
и это надо?
Купим на всякий случай.
Вдруг
наживешь на нем?
Ерники и подхапимы
вьются, точно налимь,
ходят
вокруг да около,
мечутся по кривой.

Хайла свои разинув,
липнут неотразимо,
жабры топорщат — метят
выскользнуть с-под него.

Синежурнальная сволочь,
купринские опивки,
пыль

Леониду Андрееву
слизывавшие с сапог,
перья свои нацелив,
точно дикарские пики,
колют его,
идущего
через хребты веков.

А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско, ведомое
силой рубля,
на них, перекатывавшихся
балластом
по трюмам державного корабля.
И все, чем земля
его сердце украсила,
всю силу искусства
в открытом бою
он двинул
против литературного прасола,
в упор живописному шибая.

Быть может, им путь
был исправительно начат.
Но — видите, что он
наделал потом!
И многие ль — больше
и вровень с ним, — значит,
пошедшие
более легким путем?!

Глава VIII ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ

Мы с сердцем
ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Маяковский, „Облако в штанах“.

В те дни,
вопреки всем преградам и проискам,
весна
на афиши взошла
и подмостки:
какие-то люди
ставили в Троицком
впервые трагедию
«В. Маяковский».
В ней не было
доли
искусства шаблонного;
в ней все —
несожиданность,
вздыбленность,
боль;
все —
против тупого покроя
Обломова: —
и автор,
игравший в ней первую роль,
и грозный
цветистый разлет декораций,
какне
от бомбами брошенных слов,
казалось,
возьмут — и начнут загораться,
сейчас же,
пока еще действие шло.
Филонов,
без сна их писавший

три ночи,
не думал на них
наживать капитал,
не славы искал
запыленный веночек, —
тревогой и пламенем
их пропитал.

Теперь это
стало истории хламом:
куски декораций,
афиши...
А там —
это было
единственным самым,
что ставило голову выше.
Теперь это
давняя перебранка,
с которой
и в книгу не сунусь,
а было —
периодом
штурма и драпга,
болями
за право на юность!

Представьте:
туманный, чиновный,
крахмальный
день,
не выходящий из ряда,
и в нем
неожиданно,
звонко,
нахально
гремящая буффонада.
Представьте себе
этот профиль столичный,

в крахмале
тугого зажима,
в испуге
на оклик насмешливо-зычный
повернутый недвижимо.
Представьте себе
эти вялые уши,
забитые ватой
привычных цитат,
глаза эти —
вексельной подписи суше,
мигающие
на густые цвета.
Часть публики аплодирует:
«Наши!»
Но большая,
негодую, свистит.
Зады
поднимают со стульев папаши,
волнуясь, взывают:
— Где скромность? где стыд?!
Да. Скромностью наши
не отличались тут;
их шум
в добродетелях подкачал:
ни скромности,
ни уваженья к начальству,
ко всякому
в корне
началу начал.
Но то, что казалось папашам
нахальством
и что трактовалось
как стиль буффонад, —
не явной ли стало
размолвкой с начальством:
истерся

Россию вязавший канат.
Уже износились
смиренья традиции,
сошла позолота,
вскоробился лак;
и стало
все больше
в семействах родиться
бездельников,
неслухов,
немоляк.

Бездельем считалось
все,
что — хоть постепенно,
хоть как бы ни скромно
и как ни мало —
примерного юношу
вверх по ступеням
общественной лестницы
не вело.

Бездельничество —
это все, что непрочное,
все, что не обвясно
запахом щей,
не схоже с былым,
непривычно,
порочно
и противоречит
порядку вещей.

Порядок же
явно пришел в беспорядок:
по-разному
шли в учрежденьях часы...
И как ни сверкали

клинки на парадах,
рабочая сила
легла на весы.
И часто,
в тоске ужасалась супруга,
и комкал газету
сердитый супруг,
что —

«... мальчик
из нашего
выбился круга!»
Что —

«... девочка
вовсе отбилась от рук!»
Потомство
скрывалось на горизонте.
— Ведь были ж послушны
и мягки, как шелк!
— А нынче —
попробуйте,
урезоньте!
— А ваш-то —
небось — в футуристы пошел?

Вот так это все
и случилось и было:
не то, чтоб
начальственный окрик
ослаб,
но детство
мамаше с папашей грубило
на весь
беспредельный российский масштаб.
А вместе с родительским
царский и божий
клонился,
в цене упадая, престиж;
и стала страна

на себя непохожей,
все злей и угрюмей
в затылке скрести.

Конечно,
не спор о семейственном благе
массовкой
топорщился
у леска,
но
массовой перебежкой в лагерь
редели
былого уклада войска.
Конечно,
ис в этом была революция,
героика будней,
упорство крота,
но все беспризорнее
головы русые
мелькали
украдкою за ворота.

Я знал эту юность,
искавшую выход
под тусклой опекою
городовых,
не ждавшую
теплых местечек и выгод,
а судеб —
торжественных и передовых.
Казалось,
все скоро изменится.

Ждали
каких-то неясных предвестий,
толчков.
Старались заглядывать в завтра.
Но дали

хмурели
в обрывках газетных клочков.
Казалось,
все скоро исполнится...
Слишком
была эта явь
и темна, и тесна.
Ловили отгулы грозы
по наслышкам,
шептались,
что скоро наступит весна.
И вдруг
в этом скомканном,
съеженном мире, —
где день не забрезжил
и сумрак не сгас, —
во всей своей молодости
и шири
пронесся призывом
грохочущий бас:
— Ищите жирных
в домах-скорлупах
и в бубен брюха
веселье бейте!
— Схватите за ноги
глухих и глупых
и дуйте в уши им,
как в ноздри флейте!

Вот тут-то
и поднялась потасовка:
— Забрать их в участок!
Свернуть их в дугу! —
А голос взвивался
высоко-высоко:
— О-го-го-го!
Могу!

Глава IX
„ВПЕРЕДИ ПОЭТОВЫХ АРБ“

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты.
Глупой комедии остановите ход.
Смотрите,
срываю игрушечные латы
я,
величайший Дон-Кихот.

Маяковский.

Вот он возвращается
из Петрограда —
красивый,
двадцатитрехлетний,
большой...
Но есть в нем какая-то горечь,
утрата,
какое-то облако над душой.
Сказали: к друзьям он заявится
в среду.
Вошел.
Маяковского — не узнать.
Куда подевались —
их нету и следу —
его непосредственность
и новизна.
Уж он не похож
на фабричного парня:
белье закрахмалил
и волос подстриг.
Он стал прирученной,
солидней,
шикарней —
по моде
последний со Сретенки крик.
(На Сретенке были
дешевые лавки

готовой одежи:
надень и носи.
Что длинно — то здесь же
возьмут на булавки;
что коротко — вытянут
по оси).

Такого вот
можно поставить к барьеру:
цилиндр и визитка
и толстая трость.
Весь вид —
начинающий делать карьеру
наездник из цирка
и праздничный гость.

Они ему крылья
напрочь обкарнали,
сигарой зажали
смеющийся рот,
чтоб стал он картинкой
в их модном журнале
не очень опасных
построчных острот.
Они его в шик облачили
грошовый,
чтоб смех, убивающий
наповал,
чтоб голос его разменять
на дешевый
каданс
их прислужников-запесвал.

На нем же любое платье
выглядело элегантным;
надетым не для фасонов
и великосветских врак...

Он был какого-то
нового племени
делегатом,
носившим
так же свободно,
как желтую кофту,
фрак.

И в блеске лоснящегося
цилиндра
отсвечивал холод,
лицо озарив;
так в порохе блещущая
селитра
напоминает
про грохот,
про взрыв.

И хоть он печатался
в «Сатириконе»,
хоть впутался в ленты
ермольевских фильм, —
весь мир его помыслов
был далеко
не тем, чем казался
для нас, простофиль.
Он законспирировал
мысли и темы;
расширив глаза,
он высматривал год, —
тот год,
где пойдем и почувствуем
всё мы,
что мир разделился
на слуг и господ.

Он больше не шел
против ихних обрядов,
он блуз полосатых

уже не носил.

И только одно
не укрыл он, упрятал:
сердечного грохота
в тысячу сил.

И сразу
все темы
мельчали...

Одна —
до дрожи стены;
и сразу друзья
замолчали, —
так были потрясены.
И после,
взмывая из мрака,
тянулись к нему голоса
и пестрая вязь

Пастернака

и хлебниковская роса.

И нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых,
Каменский пожаром пылал.
И Шкловского яростная
улыбка, —

восторгом и болью
искривленный рот,
которому
вся литература — ошибка
и все переделать бы —
наоборот!

Комедия

превращалась в «Мистерию»;
он зря ее думал
развенчивать в «Буфф»;
все жестче
потерю ему за потерю

приписывал к жизни
всесветный главбух.
Все чаще и чаще
впадал он в заботу,
судьбы обминая
тугой произвол,
все гуще, как в лямки,
влегал он в работу
и книгу
подписывал подписью
«Вол».

Огромным,
упорным Сампсоном остриженным
до мускульных судорог
вздувшихся плеч, —
он речь
от дворцов поворачивал
к хижинам,
других за собой
помышляя увлечь.

И это
и все, что в стихах его лучшего,
толпа равнодушных
и сонных зсвак
не видела
из-за лорнета Бурлючьего,
из-за скопившихся в сплетнях
клоак.
Но были в России
хорошие люди;
действительно — соль ее,
цвет ее,
вкус.
Их путь, как обычно,
был скромн

и труден.
И дом небогат,
и достаток негуст.
Я знаю отлично: не ими одними
спасен был
тогдашней России содом,
но именно эти
мне стали родными
с их вкусом,
с их острым событий судом.
Их пятеро было,
бесстрашных головок,
посмевающих свой взгляд
и сужденья иметь;
отвергнувших путь
ханжества и уловок,
сумевших
меж волков
по-волчьи не петь.

Сюда сходились все пути
поэтов
века нашего;
меж них,
блистательных пяти,
свой луг
рифмач выкашивал.
Как пахнут
этих трав цветы!
Как молодо
и зелено,
как будто бы с судьбой
«на ты»
им было стать повелено.
Здесь Хлебников жил,
здесь бывал Пастернак...
Здесь

свежесть
в дому служила,
и Маяковского
пятерня
с их легкой рукой дружила.
Взмывало солнце петухом
в черемуховых росах.
Стояло время пастухом,
опершимся о посох,
здесь начинали жить
стихом
меж них —
тяжелокосых.
Но мне одному лишь
выпало счастье
всю жизнь с ними видаться
и общаться.
Он, заходя к нам,
угрюм и рассеян,
добрел во всю своих глаз ширину,
басил про себя:
« — счастливый Асеев:
сыскал себе
этакую жену!»

Я больше теперь
никуда не хочу выходить
из дому:
пускай
все люстры в лампах
горят зажжены.
Чего мне искать
и глазами мелькать по-пустому,
когда ничего на свете
нет
нежнее моей жены.
Я мало писал про нее:
про плечи ее молодые,

про то,
как она справедлива,
доверчива и храбра;
про взоры ее голубые,
про волосы золотые,
про руки ее,
что сделали в жизни мне
столько добра.
Про то, как она
страдаст, не подавая вида,
про то, как
сердечно весел
ее ребяческий смех.
Про то, что ее веселье, —
как и ее обида, —
душевней и человечней
из встреченных мною всех.
Про то, как на помощь она
приходит, быстрей света,
сама никогда не требуя помощи
у других.
Про то, как она служила
опорою для поэта,
сама для себя не делая
ни из кого слуги,
И каждое
свежее воздуха к коже
касание,
и каждая.
ясного утра
просторная тишина,
и каждая светлая строчка
обязана ей.
Оксане, —
которая — из бесчисленных
единственная
жена!

Глава X ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД

Что задумался, отец?
Или — больше не бои?
Так затынем полковую,
А потом — набоковую.

Хлебников.

Война разразилась
внезапно,
как ливень;
свинцовой волной
подступила ко рту...
Был посвист снарядов и пуль
заунывен,
как взвывы
тревожной лебедки в порту.
Еще не успели
из сумрака сонного
ко лбу донести —
окрестить — кулаки,
как гибли уже
под командой Самсонова
рязанцы,
владимирцы,
туляки.
Мы крови хлебнули,
почувствовав вкус ее
на мирных,
доверчивых,
добрых губах.

Мы сумрачно вторглись
в Восточную Пруссию
зеленой волной
пропотелых рубах.
И хоть мы не знали,
в чем фокус,
в чем штука,
какая нам выгода

и барыш, —
но мы задержали
движение фон Клука,
зашедшего правым плечом —
на Париж!

И хоть нами не было
знамо и слыхано
про рейнскую сталь,
цеппелины
и газ,

но мы опрокинули
планы фон Шлиффена,
как мы о нем —
знавшего мало о нас.

Мы видели скупое
за дымкою сизой,
подставив тела
под ревущую медь,
но —

снятые с фронта двенадцать дивизий
позволили
Франции уцелеть.

Из всех обнародованных
материалов
тех сумрачных
бестолковых годин
известно,
как много Россия теряла.

И все ж
мне припомнился
новый один.
Один
из бесчисленных эпизодов,
который
невидимой силой идей
приводит в движение
массы народов,

владеющих судьбами
царств и людей.
Министры казну обирали.
Шакальи
фигуры их
рвали у трупов куски.
А парни с крестами
шагали, шагали,
разбитые пополняя полки.
Я ехал в вагоне,
забранный и забранный
в народную повесть,
в большую беду.
Я видел,
как учащенными жабрами
держава дышала,
как рыба во льду.
Вагон третъеклассный.
В нем — чуйки, тулупы,
теньями, подрагивающими
под бросок,
огарок оплывший
и въедливый, глупый
нахально надсаживающийся голосок.
Заученных слов
не удержишь потока:
«За матушку Русь!
За крушение врага!»
А сверху глядела
папаха,
винтовка
и туго бинтованная
нога.
Оратор
захлебывался, подбоченьясь,
про крест над Софией,
про русский народ,
но хмуρο и скучно

глядел ополченец
на пьющий и врущий
безудержу рот.
Оратор ярился:
«За серых героев!
Наш дух православный
неутомим!
Мы дружно сплотимся,
усиля утроив,
и диких тевтонов
вконец разгромим!»
Когда ж
до «жидов»
и до «социалистов»
добрался
казенных мастей
пиджачок, —
не то обнаружился
просто в нем пристав,
не то это
поезда сделал толчок,
но раненый ясно,
отчетливо,
строго,
с какой-то
брезгливостью ледяной
отрезал:
«Мы не идиоты!»
и, ногу
поддерживая,
повернулся спиной.
«Мы не идиоты!» —
вот в чем было дело
у всех этих раненых
без числа;
вот что
и на стеклах вагонных нальдело
и на сердце

вьюга в полях нанесла.
На скошенных лезвиях
маршевой роты
мелькало,
неуловимо, как ртуть,
холодное это
«Мы не идиоты!»
и штык угрожало
назад повернуть.
И — правда —
кому б это стало по нраву;
пока наживалась
всесветная знать,
на Саву и Мраву
и Русскую Раву,
своими скелетами
путь устилать?!
Вагон тот
давно укатился в былое,
окопы
запаханы в ровную гладь,
но память
не меркнет
об этом герое,
сумевшем
в три слова
всю правду собрать.
Три слова
плевком по назойливой роже!
Три слова —
где зоркая прищурь видна.
Три слова —
морозным ознобом по коже,
презрение
выцедившие до дна!
И в это же время, —
две капли таковский, —
с правдивостью,

той же
сродненной вдвойне,
бросал свои реплики
Маяковский
Кашеихе-стальнозубой —
Войне.

Он также мостил
всероссийскую тину
булыжником слов,
не цветочной пылью,
ханже и лгуну
поворачивал спину,
в пощечины
смаху хлеща подлецов.
И понял я
в черных бризантных
вихрях,
что в этой
тревожной бравате юнца
растет
всенародный
российский выкрик,
еще не додуманный
до конца.

Я понял —
не призрак поэта модный,
не вешалка
для чувствительных дев,
что это великий,
реальный,
народный,
пропитанный
смехом и горечью
гнев.
Я понял,
что, сердце сверяя по тыщам,
шинель рядового

сносив до рядна,
мы новую родину
в будущем
ищем,
которая
всем матерински
родна.
Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?»
И грозно сверкнут
пограничные вышки,
в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно,
которой понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить
и умереть не обидно
ничуть!

Глава XI НЕВОКИЙ ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

Октябрь наступил
карающий, судный.
Мяковский, „Про это“

Ешь ананасы,
Рябчики жуй.
День твой последний
Приходит, буржуй.
Маяковский.

Земля
тех дней никогда
не забудет, —
тех массовой силою

кованных дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
звечит над ней.

Еще петушится
тщедушная прядка
на взмыленном,
узеньком
Керенском лбу;
но чаще
защитники правопорядка
с позором
проваливаются в толпу.
Уже пригляделись
к ораторам сытеньким,
выныривавшим
и исчезающим во мглу
на быстрых,
стихийно вскипающих
митингах,
везде —
то на том, то на этом
углу.
Волненьем
уже относило в сторонку
пустых болтунов
и слюнявых растяп;
на Невском
вил за воронкой воронку
в матросских бушлатах
темневший Октябрь.

Ветер треплет
обрывки реплик,
полы и бороды

носит по городу.

Вот бас, умудренно рыкая,
прозреть призывает
слепцов:

— Погибнет Россия!

— Какая?

— Помещиков да купцов?!

Насупились бороды строгие
в упор,

на каждом шагу.

«Но это же — демагогия...

Я так рассуждать не могу!»

Вот парень

в промасленной кепке,

изношен пиджак

до прорез...

Слова его

крупны и крепки —

отборный

каленный орех:

— Они на панелях-то смелы, —

Одетые в сукна-шелки...

Которые

за Дарданеллы —

построились сами б

в полки!

Пошли б в наступление

сами,

чсм нас

выставлять норовить...

С такими-то корпусами —

да кайзера

не раздавить?

Вот дамочка, выкатив бельмы,

трезвонит горячую речь, —

что:

«тайным агентам Вильгельма

себя не позволит увлечь»,
что:
«всюду, во всем недостатки»,
что:
«темный народ бестолков»,
что:
«нужно кончать беспорядки
насильников-большевиков».
Аж зубы от злобы согнула —
так
жирная жизнь дорога!
Как вдруг
через плечи
шагнула
в огромном ботинке нога.
— Она у меня кошелек стащила!
Вчера, на Обводном,
вот так же врала:
вот эта же самая
чортова сила
засунула руку в карман
и драла! —
Пунцовыми пятнами — дама,
у барыни рот окосел...
Но этот, Высокий, упрямо
на пылкую даму насел:
— Она у меня кошелек с получкой!..
Вот эта вот самая
позавчера...
Да вы, мадам,
не машите ручкой,
невинность разыгрывать —
песня стара.
Смех, гомон,
свист, шум,
лед сломан
злых дум.
— Вы, гражданка,

нам мозгов не туманьте,
ишь, бровки распялила
до облаков! —

Все руки ошупали, как по команде,
карманы штанин и борты пиджаков.
— Айда, Васюк!

Да пальто поплотнее,
видать, мастерица насчет кошельков.
Постой! Да чего хороводиться с нею.
А треплется! Тоже, про большевиков!

— Позвольте, однако,
побойтесь же бога!

Я вижу впервые вас!

Есть же предел!

— Да что там с такой
разговаривать много! —

И митинг таял,
дробился, редел.

— Позвольте! Ну что же это
за диво?

Я вас не встречала
во вски веков! —

Высокий над ней
наклонился учтиво:

— Вот так же, мадам,
как и большевиков!

И как ваша речь
горяча ни была,
и как ваши чувства ни жарки, —
вернувшись домой,
не срывайте зла,

прошу вас,
на вашей кухарке! ..

Земля тех дней
никогда не забудет,
тех — кованных
массовой силою дней.

пока на ней
существуют люди,
покамест песня
гремит над ней.

Глава XII ХЛЕБНИКОВ

Он говорил: я бедный
воин и одинок...

Хлебников.

Вы Хлебникова видели
лишь на гравюре,
вы ищете слов о нем
и чувств посвежей,
а я гулял с ним
по этой буре
из войн, революций,
стихов и чижей.

Он был высок, правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
Глаза его —
осени светлой озера —
беседу с лесною вели тишиной,
без слов
холодя пошляка и фразера
суровой прозрачностью ледяной.
А рот —
на шиповнике спелая ягода —
был так неподкупно
упорен и ал,
что каждому звуку

верилось загодя,
какой бы он шелест ни поднимал
И лоб его,
точно в туманы повитый,
внезапно светлел,
как бы от луча,
и сердце тянулось к нему,
по виду
его из тысячей отлича.
Словно в кристалл
времена разумея,
он со своих
недоступных высот
ведал — за тысячу
до Птолемея
и после Павлова
за пятьсот.
Он тѣк через пальцы
невыгод и бедствий,
затоптанный в пыль
сапогами дельцов.
«Так на холсте
каких-то соответствий
вне протяжения
жило лицо».
Он жил — ис ища
ни удобств, ни денег;
жевал всухомятку,
писал на мостах,
граненого слова
великий затейник;
в житейских расчетах
профан
и простак.
Таким же, должно быть,
был и Саади,
таким же Гафиз
и Омар-Хайям, —

как дымные облаки
на закате —
пронизаны золотом
по краям.
Понять его
медленной мыслью не траться;
сердечный прыжок
до него разгони...
Он спал
на стихами набитом матрасе,
сухою листвою
шуршали они.
Он складывал их в узелок
и — на поезд!
Внезапный входил,
сапоги пропыля:
и люди добрели,
и кланялись в пояс
ему украинские тополя.
Он прошумел,
как народа сказанье,
полупризнан
и полуодет, —
этот, пришедший к нам
из Казани
аудиторий зеленых студент.
И, словно листья
в июльском зное,
пока их бури не оголят,
встретились, чокнулись
эти двое
сила о силу,
талант о талант.
Как два посла больших держав,
они сходились церемонно:
что там таит
в себе, сдержав?
Какие за другим знамена?

Посол садов, озер, полей,
не слишком ли
дремотно
знамя?
А ты?
Неужто веселей
твой город с мертвыми камнями?
— Но в городе люди живут,
а не вещи!
Что толку описывать
клюв лебедей!
— Но лебеди плещут,
а рощи трепещут...
Не вещи ли делаest
разум людей?
Завод огромен и высок.
Но он клеймом оттиснут
в душах;
не мягше ли
морской песок,
чем горы ситцевых подушек?
— Не тверже ли
сухой смешок,
дающий пищу
жерлам пушек?
— Да,
миром владеет
бездушный Кашей...
Давайте устроим
восстанье вещей!
Ведь: слово — «весть»
и слово — «вещь»
близки и родственны корнями.
Они одни — в веках —
и есть
людского племени орнамент?!
— Смотрите же, не забудьте обещастья:

отныне — об одних больших вещах
вещанье.

Такой разговор,
может, в жизни и не был;
лишь взглядов обмен
да сердец перебой.
Но старую земаю
под новое небо
они поклялись
перекрыть над собой.
Маяковский любил
Велемира, как правду,
ни пред кем не складывающуюся пополам.
Он ему доверял,
словно старшему брату,
уводившему за руку
в даль, по полям.
Он вспоминал о нем,
беспокоился,
когда Хлебников
пропадал по годам:
Где же Витя?
Не пропал бы под поездом!
Оборвался, навсрное
оголодал!
А Хлебников шел по России
неузнанный,
костюм себе выкroив
из мешков,
сам —
поезд
с точеными рифмами-грузами
по стрелкам
сочувствий,
толчков и смешков.
Он до пустыни Ирана
донашивал

чистый и радостный
звучности груз,
и люди,
не знавшие говора нашего,
его величали
«Дервиш-урус».
Он шел,
как будто земли не касаясь,
не думая,
в чем приготовить обед,
ни стужи,
ни голода не опасаясь,
сквозь чащу
людских неурядиц и дел.

Бывало его облекут,
как младенца,
в добротную шубу,
в калоши,
и вот
неделя пройдет и — куда это денется:
опять — Достоевского «Идиот»!
Устроят на место,
на службу пайковую;
ну, кажется, есть
и доход, и почет.
И вдруг
замечаешь фигуру знакомую:
идет,
и капель ему щеки сечет,
идет и тербит
от пуговиц ниточки;
и взгляда не встретишь
мудрей и ясней...
Возьмешь остановишь:
— Куда же вы, Витечка?
— Туда

(отмахнется),
навстречу весне!

Попробуйте вот,
приручите, приштопайте,
поставьте на место
бродячую тень:
он чуял
в своем безошибочном опыте
ту свежесть,
что в ноздри вбирает олень.
Он ненавидел
фальшь и ложь,
искусственных чувств оболочку:
ему, бывало, — вынь да положи
на стол хрустальную строчку.
Он был Маяковского
лучший учитель
и школьную дверь запахнул
навсегда...
А вы в эту дверь
напирайте,
стучите,
чтоб не потерять
дорогого следа!

Глава XIII ОСИННОЕ ГНЕЗДО

...Желаю видеть
в лицо,
кому это я
попутчик?

Маяковский.

К этому времени
сходится все,
все нити
и все узлы.
Опять обозначился

жирный кусок
и вин моревой розлив.
У множества
сердце было открыто
и только рубахой защищено;
а мелочь
теснилась опять у корыта
богатств, привилегий,
наживы,
чинов.
Уже прогремел монолог
«О дряни»...
На месяц
поставив себя за станки,
в партийные
начали метить дворяне
какие-то маменькины сынки.
По книжке рабочей
отметив зарплату
и личико постно
скрививши свое, —
они добывали
секретно
по блату
особо ответственный,
жирный писк.
Они отъедались,
тучнели,
лоснились;
кто косо смотрел на них,
брали в тиски;
и им по ночам
в сновидениях снились
еще более лакомые
куски.
Они торопились,
тревожась попасться;
они заполняли

собой этажи;
они накапливали
для боя
запасы
валюты и наглости,
жира и лжи.
У партии
было заботы сверх меры,
проблем неотложных —
невпроворот. . .

Метались
тревожно милиционеры
за валютчиками
у Ильинских ворот.
А те,
притаившись за шторами в доме,
глядели,
когда эти беды минут,
их папа,
нахохлясь, сидел в Концесском
и ждал для сигнала
удобных минут.

От них,
ограниченных,
самовлюбленных,
мечтавших фортуны
за хвост повернуть,
вся в мелких словечках,
ужимках, уклонах
ползла непролазная слякоть и муть.

Москва
была занесена снегами
дискуссий, споров,
сделок и торгов;

Москва была
заслежена шагами
куда-то торопившихся
врагов.

Шаги петляли, путались,
ветвились,
завертывали за угол
в тупик,
задерживались у каких-то
крылец,
и вновь мелькал
поднятый воротник.
Тогда-то
и возник в литературе
с цитатою луженой
на губах,
с кошачьим сердцем,
но в телячьей шкуре
литературный гангстер
Авербах.
Он лысину
завел себе с подростков;
он так усердно
тер ее рукой,
чтоб всем внушить,
что мир — пустой и плоский,
что молодости
нету никакой.
Он чорта соблазнил,
в себя уверяя б:
в значительности
своего мирка.
И вскоре
этот оголенный череп
над всей литературой
засверкал.
Он
шайку подобрал себе
умело
из тех,
которым нечего терять;
он ход им дал,

дал слово им
и дело,
он лысину
учил их
потирать.
Одних — задабривая,
а других — пугая,
он все искусство взял
под свой надзор;
и РАПП, и АХР,
и неказаль другая
полезли
из-за всех щелей и нор.

Расчет был прост:
на случай поворота,
когда их штаб
страну в дугу согнет, —
в искусстве
их муштрованная рота
направо
или влево отшагнет.
Но как же с Маяковским?
Эту птицу
не обойти
ни прямым, ни вкось:
всю жадность
ненасытных аппетитцев
испортит,
ставши в горло, эта кость!
И вот к нему
с приветом и поклоном
как будто бы от партии
самой:
— Идите к ним,
к бесчисленным миллионам,
всей дружной
пролетарскою семьей...

Он чуял, что
и дружбой здесь не пахло,
и
что-то непонятное
росло,
что жареным от МАППа
и от АХРа
на тысячу километров несло.

Тогда, увидев,
что за них не тянет,
они решили,
не скрывая злость,
так одемьянить или оболванить,
чтоб свету увидеть не довелось.
Они читали лекции
скрипуче,
темнили ясность
сталинских идей;
они словом презрительным
«попутчик»
клеили
всех невхожих к ним людей.
Формальным комсомольством
щеголая,
ханжи, лжецы,
наушники, плуты, —
они мертвили разум,
оголая
от всей его сердечной
теплоты.

А он не поддавался,
он смелся,
он под ноги
не стался им ковром;
он с партией
погибнуть не боялся;
он сам

каленным метил их
тавром,
Прозаседавшихся,
чиновных
бюрократов
и прочих трехнедельных
удальцов,
он все на свет вытаскивал,
что, спрятав,
они наследовали
от отцов.
Он горлом
продирался сквозь препоны,
о стены
искры высекал виском,
и я теперь
по-новому припомнил,
как голову носил он
высоко.

Однажды мы шлЯлись с ним по
Петровке;

он был сумрачен
и молчалив;
часто —
обдумывая строки —
рядом шагал он,
себя отдалив.

— Что вы думаете,
Коляда,
если
яббом прикажут писать?
— Я?

Что в мыслях у вас
беспорядок:
выдумываете разные
чудеса!

— Ну все-таки,

есть у вас воображение?
 Вдруг выйдет декрет
 относительно нас!
 Представьте
 такое себе положение:
 ямб — скажут —
 больше доступен для масс.
 — Ну, я не знаю...
 Не представляю...
 В строчках
 я, кажется,
 редко солгу...
 Если всерьез,
 дурака не валяя...
 Просто — мне думается —
 не смогу.
 Он замолчал,
 зашагал;
 на минуту
 тенью мечась
 по витринным лампам;
 и как репенье:
 — Ну, а я
 б у д у
 писать ямбом.

Глава XIV РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ

В шалашую полночь
 площадь,
 В сплошавшую белую
 бездну,
 Не слышимый ими
 «Извозчик!»
 Низринут с подъезда.
 С подъезда.

*Пастернак, „Раскованный
 голос“.*

Теперь разглядите,
 кого опишу я

из тех, кто имеет бесспорное право
на выход

в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.

Нас всех воспитали
и образовали
по образу своему и подобию.

На собственный лад
именами назвали,
с младенчества приучая
к надгробью.

Но мы же метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас
в нули округляли по смете;
кистями,
мелодиями рояля,
стихами

дрались
против пыли и смерти.
Мы, гневом захлебываясь,
пьянели.

Нам море бывшего
было по коленн,
и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.

Нет,
мы не давались
запрячь нас в упряжку;
ведь то и входило
нам жизни в задачу,
чтоб

не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла

тощую клячу.
В четыре копыта
лошажья походка;
на лошади двигаться
предкам пристало.
А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?
В четыре стопы
не осилишь затора...
Уж как бы уютно вы
в сани ни сели...
И только
высокая сила мотора
полетом слепым
нас доводит до цели.
И как бы наш критик
ни дулся, озлоблен,
какие бы
нам ни предсказывал
дали,
ему не достать нас
кривою оглоблей,
не видеть,
как в тучах мы
запропадали.
О, нет,
завожу не о форме
я споры;
но
только взлечу я
над ширью земною,
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мелькают

внизу подо мною.
Так что мне
в твоей философии тихой
таким ли —
теней подзаборных
пугаться?
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая пегаса.
А я не с тобою
сiju в этот вечер,
шучу и грущу
и смеюсь не с тобою,
и в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!
Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки.
Но это ж и есть
наша гордость и сила:
чтоб с места сорвав,
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.

Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи,
которые —

только начни размораживать —
проснутся
от жаркого крика
«Извозчик!»
из вьюги времен,
засыпающей заживо,
Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто
хотел нас
из сумрака выловить,
а ты выбегал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти спасти свою милую.
Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого!
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать!

Так ближе!
Не в буре дешевых оваций
мы голос патруженный
сдвоим и сгрудим;
чтоб людям
не ссориться,
не расставаться,
чтоб легче дышалось
и думалось людям.
Ведь этим же
и определялась задача,
чтоб все, что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,

отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навек заучивать.
Ведь вот они —
эти последние сроки, —
задолженность молодости
стародавняя, —
чтоб в наши
суровые
дружные строки
сегодняшних дней
воплотилось предание.

Глава XV МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ

Мне и рубля не накопили
строчки.

Маяковский, „По всей толпе“.

Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне с Маяковским
важны — не мощи,
не взор, горящий бесплотным огнем;
страшусь,
чтоб не вышел он
суше
и плоче,
чем жизнь,
всегда клокотавшая в нем.

Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,

глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж его яростный темперамент,
везде поднимавший
движение и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,
что тащут биографы в Гихл?
В нем каждая жилка
жизнью играда
и жизнью играть
вызывада других!
Но мало было игроков:
один — хоть смел, да бестолков;
другой —
хоть и толков,
да скуп.
Навар
на свой снимает суп...
Обычный вид:
соратник
тыщенок сто царапнет
и мчит,
зажав подмышку,
запихивать на книжку.

Устроились все
от велика до мала;
обшились, отъелись,
зажили на дачах.
Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он все продувал
с быстротою ветра;
ни денег,

ни силы своей не жалел.
Он сердца валюту
растрачивал щедро,
сердца — а не желе!

Не с тем, чтоб пополнить
прорехи бюджета,
в заре,
наклоня вихор к вихру,
мы с ним заигрывались
до рассвета
в разную карту.
в любую игру.
Он играл
на все, что
мнилось,
пелось —
сердцу человечьему сродни.
Он играл
на радость и на смелость,
на большого будущего дни.
Ветерком рассветным обвеваем,
заполняя улицу собой,
затевал он игры
и с трамваем,
с солнцем, с башней, с площадью,
с судьбой.
Город спал,
тащились в гору клячи,
падал редкий,
сухонький снежок;
он сказал мне:
— После неудачи
пишется особенно свежо!

Вкруг его фигуры
прочной,

ладной
воздух накалялся от жары,
и летели в празелень
бильярдной
лунами мелькавшие шары.
Вкруг него
болельщики,
арапы,
мазчики, маркеры и жучки
горбились,
теснились — поцарапать,
оборвать червончиков клочки.
Ну и шла ж игра!
Кии сгибались,
фонари мигали с потолка
на огромно выпяленный палец,
на овал
тяжелого белка.
Все огнем текло:
партнеры, ставки
разной масти и величины;
разгорался
самый тугоплавкий.
были все
в игру вполечены.
Кто-то
кофе пил в соседнем зале,
чьей-то рыбы
блскла чешуя...
— Вы вдвойне идете!
Заказали?
Не платите:
отвечаю я!

Суется
один краснобай несвежий,
по брюшку
золотой цепочкой обвит...

Маяковский

в угол
крупного режет,
а тот ему под руку
говорит:

— Опускайся на дно,
понапрасну сил,
дорогуша моя, не трать!
Маяковский плечом его отстранил
и продолжает играть.

— Ну, такого не сделать ему
нипочем!

Это вам — не стишки писать!

Маяковский оттер его вновь
плечом

и опять продолжает играть.

Наконец,

когда случилось рядом
стать, —

как будто видя в первый раз,
Маяковский кинул сверху взглядом,
за цепочку взял его,
потряс. . .

Застыл остряк

с открытым ртом:

— Златая цепь на дубе том!

Пишут,

бодрясь от вздыбленных слов,

усилием морща лоб,

и мелких статей

небогатый улов

бумажным венком — на гроб.

Что есть, что нету их —

все равно:

любительское дрянцо.

А лучше всех его помнит

Арнольд —

бывший эстрадный танцор.

Он вежлив, смугл, высок,
худощав,
в глазах — и грусть и задор.
Закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.
Он был ему спутником
в дальних ночах;
бывают такие —
неведомы
в людской телескоп,
а небесный рычаг
их движет
вровень с планетами.
Он помнит каждое слово и жест,
живого лица выражение.
Планета погасла,
а спутник — не лжец —
еще повторяет движение.

Собрались однажды
любители карт
под вечер на воле
в Крыму.
И ветер, как будто входя в азарт,
сдувал
все ставки
к нему.
Как будто бы ветром
счастья посыл
в большую его ладонь;
и Маяковский,
довольный, басил:
— Бабочки на огонь.
Азарт остыл каленый нагрев,
на море и тишь, и гладь;
партнеры

ушли во тьму, озверев...
— Пойдем, Арнольд, погулять!
— Пошли!
— Давай засучим штаны,
пошлепаем по волне?
— Идет! — И вдаль уходят они
навстречу тяжелой луне.
Один высок и другой высок,
бредут — у самой воды,
и море,
наплескиваясь на песок,
зализывает следы.
Вдруг Маяковский
стал, застыв,
голову поднял вверх.
В глазах его
спутники с высоты
отсвечивают пересверк.
Арнольд задержался в пяти шагах:
спит берег,
и ветер стих.
Стоит, наблюдает,
решает: — Ага!
наверное, новый стих?

Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка
в море чалит;
с лодки — голос
молодой,
и тревожит, и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:

«Золотистый, золотой!»
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим,
замирая вдалеке,
все плывет она над морем,
не записана никем.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
— Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
т а к у ю
написать.

Все так же поют
соловьи в Крыму,
которых
не услышать ему.
Все те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему.
Иудино дерево цветет,
розовое от пен.
А он под ним никогда не пройдет,
отгрохотав, отпев.
И столько новых людсй родилось,
что всех их взглядом не охватить,
с которыми в жизни
не удалось
ни познакомиться, ни пошутить.
А он
с самим Ай-Петри шутил,
гудки пароходные понимал

и с самым жарким из наших светил
густой настой земли распивал.
И столько новых событий
и дел
построилось в мировой парад
и без него,
крутясь, прогудел
над Барселоной первый снаряд.
И новые пчелы
несут свой мед
и новые змеи
копят свой яд,
но знает Земля,
что свое возьмет
над счетом горечей
и утрат.
Над синевой углубленных рек,
над глубиной плодоносных руд
настанет он,
непреложный век,
где будет
сладок
и пот и труд!
Наступит он
со всей полнотой,
чей облик
нам лишь по песне знаком,
кого мы звали:
«Приди, золотой!»
своим пересохнувшим языком
И голос-сокол
сойдет на низы,
неискореним и непобедим,
и мы его слов услышим вблизи
совсем неистраченным
и молодым.

Глава XVI

КОСОЙ ДОЖДЬ

...А за что любить меня
Марките?

Маяковский, „Американские
стихи“.

Мы все
любили его за то,
что он не похож на всех:
за неустанный его задор,
за неумный смех.
Тот смех
такое свойство имел,
что прошлого
рвал пласты:
и жизнь веселела,
когда он гремел,
а скука
ползла в кусты.
Такой
у него был огромный путь,
такой ширины шаги, —
что слышать его,
на него взглянуть
сбегались друзья и враги.
Одни в нем видели
остряка,
ломающего слова;
других
за сердце брала строка,
до слез горяча и жива.
Вот он встает,
по грудь над толпой,
над поясом всех широт...
И в сумрак
уходит завистник тупой,
а друг

выступает вперед.
Я доли десятой
не передам,
как весел и смел его взгляд:
и рукоплесканье
летит по рядам
строке,
попадающей в лад.
Ладони бьют,
и щеки горят...
Еще ли
усмешка коса!
За словом
слово — тяжелый снаряд
летит, шевеля волоса.
Советский недруг,
остерегись;
попятившись,
кройся в даль, —
так страшно
голоса нижний регистр
надавливает педаль.
Все шире плечи,
прямей голова,
все искристее глаза...
Еще
и еще,
и еще наплывай,
живительная гроза.
И вдруг —
как девушку — нежной рукой
обнимет веселой строкой.
А это
надобно понимать,
как девушек обнимать.

Он их обнимал,
не обижая,

ни одной
не причиняя зла,
ни одна, —
другим детей рожая, —
от него обид не понесла.
Он их обнимал
без жестов оперных,
без густых
лирических халтур;
он их обнимал —
пустых и чопорных,
тоненьких
и длинноногих дур.
Те, что поумней
да поприглядистей,
сторонились;
не шути с огнем;
грелись
у своих семейных радостей,
рассуждая:
— Нет уюта в нем!

Что б из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на вска!
Может бы
и не пришлось покойнику
павзничь лечь
на горб броневика.
Нет, не кинулись.
Толстели.
уложив в конце концов
на широкие постели
мелкотравчатых самцов.
Может,
и взгрустнет иная,
воротаясь

к себе домой;
давний вечер
вспоминая,
тайно от себя самой!
Только
толку в этом мало —
забираться в эту глушь...
Погрустила
и увяла:
дети,
очереди,
муж.

Нст! Ни у одной
не стало смелости
подойти
под свод крутых бровей;
с ним одним
навек остаться в целости
в первой, свежей
нежности своей.
Только ходят
слабенькие версийки,
слухов
пыль дорожную крутя,
будто где-то,
в дальней-дальней Мексике,
от него затеряно дитя.
А та, которой
он все посвятил,
стихов и страстей
лавину,
свой смех и гнев,
гордость и пыл,
любила его
вполовину.
Все видела в нем

недотепу-юнца
в рифмованной оболочке:
любила крепко,
да не до конца,
не до последней
строчки.

Мы все любили его
слегка;
интересовались громадой,
толкали локтями его
в бока,
пятали
губной помадой.
«Грустит?» —
любопытствовали. —
«Пустяки!»
«Обычная поза поэта»...
«Наверное
новые пишет стихи
про то или про это!»

И снова шли
по своим делам,
своим озабочены бытом,
к своим постелям,
к своим столам, —
оставив его
позабытым.
По рифмам дрожь:
мы опять за то ж —
«Чегой-то киснет Володичка!»
И вновь одна,
никому не видна,
плыла любовная лодочка.

Мы все любили его
чуть-чуть,

не зная, в чем суть
грозовая...
А он любил,
как в рога трубил,
в других аппетит вызывая,
любовью
горы им снесены;
любить —
так, чтоб кровь из нóсу,
чтоб меры ей не было,
ни цены,
ни гибели, ни износу.
Не перемывать
чужое белье,
не сплестен сплестать околесицу, —
сырое,
суровое,
злое былье
сейчас под перо мое просится.
Теперь не время судить,
кто прав;
живые шаги его пройдены,
но пуще всего
он темнел,
взревновав
вниманию
матери-родины.
«Я хочу быть понят
родною страной,
а не буду понят, —
что ж:
над родной страной
пройду стороной,
как проходит косой дождь».

Еще ли молчать,
безъязыким ставши?!

Не выманите
меня на то.
В стихах его
имя мое — не ваше —
четырежды упомянуто.
Вам еще
лет полста учиться
тому, что мне
сегодня дано;
видите:
солнце
по-всю лучится,
а петушок уже пропел
давно!
Страна работала,
не покладая рук,
оттачивала
острие штыка,
и только изредка
вбирала сердцем звук
отважного,
отборного стиха.
Страна работала.
не досыпая снов,
бурила, строила,
сбирала урожай. —
чтоб счастьем пропитать
всю землю до основ,
от новых городов
по древние Можай.

Ей палки впихивали
в колесо
подъемного в гору движенья;
то там,
то здесь появлялось лицо
зловещего выраженья.

И желчный,
сухой,
деревянный смешок,
и в стеклышках —
тусклые страсти
и трупный душок:
— Всю Россию в мешок,
лишь бы нам бы добраться до власти!
Лицо это,
тайно дробясь и мельчась,
клубилось в размноженном скопе;
то разом оно возникало,
то часть
его повторявшихся копий.
В нем прошлое
брать собиралось реванш
у нового лозунгом злобным:
— Разрубим ребенка!
Не ваш и не наш!
Уйдем,
но уж дверью-то хлопнем! —
Да, дел было пропасть,
Под тенью беды
куда уж там слушать «Пр о э т о».

Мутили ряды,
заметали следы
фигуры защитников цзета.

И вот,
покуда — признать — не признать —
раздумывали, гадая,
вокруг него
поднималась возня
вредителей и негодяев.
«Кого?

Маяковского?!
Что за птица?»
Кривой усмешкой меряя...
Стихом к тупице
не подступиться, —
слюной
кипит в недоверии:
«Да он недоступен
широким массам,
да что с ним Асеев
тычется!!
Да он подбирался
к советским кассам
с отмычкой футуристической».
А он любил,
как дрова рубил,
за спину
кубы отваливая.
До краски в лице,
до пули в конце
вниманье стиху вымаливал.

Как медленно
в гору
скрипучий воз
посмертной тянется славы!
Обоз обгоняя,
взвивая до звезд
его возносящие главы.
Мотор разорвется,
быть может,
в куски:
штормами
его укачало.
Но прошлого тропы
движенью узки:
конец означает начало.

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

Малковский, Город.

Как стал он вхож
в людские понятия!
Как близок строчкой,
прямо и правдив;
ведь ни по приказу,
ни на канате
к себе не притянешь,
сердца обратив...
Читая,
начнешь стихи его путать, —
сейчас же
сто голосов — на подсказ!

как будто
не я,
а они как будто
встречались с ним
по тысяче раз.

Ведь это
не выдумка барда бахвальная:
вот этот асфальт
и эти огни
и площадь —
не старая Триумфальная, —
с Пушкиным рядом
встали они!
И все повседневней,
все повсеместней
становится — миром
его родня;
сюда он шагал
с Большой своей Пресни,
с шагов своих первых,
с мальчишьяго дня.

Сюда по Садовым,
по Кудринским вышкам,
по куполам твердых
булыжных мозгов,
по снежным подушкам,
по жирным одышкам
широких шагов
направлял он разгон.

Она
Маяковского площадью названа;
не очень еще ее пышен уют,
и много народа,
самого разного,
ее заполняют, толкутся, снуют.

Еще не обрушены плоские здания,
но уже тем она хороша,
что въявь пределы ее
стародавние
раздвинула новых привычек душа.
Две буквы стоят
квадратные, строчные,
как сдвоенный вензель печати ММ,
как плечи широкие,
крепкие,
прочные
у входа — открытого всем, всем, всем —
Москвы в нутро
ведет метро,
один вагон, другой вагон,
а он на нем
не ездил;
не видел он стальных колонн,
подземных ламп-созвездий.

И глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись,
не шляпой ли машет
он издали?
Он здесь.
Он с нами остался навечно;
ему в людской густоте —
по себе.

Он — вон он — шагает
большой и беспечный
к своей неустроенной
славной судьбе!

Как он шагал,
как проходил,
как пробивался Москвою!
Шагом широким,
шагом большим, —
крупной походкой мужскою.
Ботинки номер сорок шесть!
Другим — вдвоем бы можно влезть
и жить уютно в скинутом,
согнув дугою спину там.

А он не умел сгибаться дугою,
он весь отличался
повадкой другою,
шагал, развернув
тяжелые плечи,
высокой походкою
человечьей.

И после каждого его
шага
метелью за ним
завивалась сага.

Однажды мы выехали
с Оксаной
вдвоем из гостей
по дорожке санной...
А он рядом
зашагал пешком,
подошвы печатая
свежим снежком.

Тогда еще в моде
извозчики были
и редко работали
автомобили.

Возница на клячу
чмок да чмок,
и все же его
обогнать не смог.
И нас,
на полсажня опередя,
дорогу под носом
у нас перейдя,
он стал
и палкой нам отсалютовал,
дескать: Привет!
До свиданья, покудова!
И в этом жесте
мальчишеском, гордом,
который движенье и радость таит,
хотел бы я,
чтоб стал он над городом,
как в памяти нынче
в моей он стоит.
Стоял, весельем
и силою вея,
чтоб так бы его
наблюдала толпа:
в пальтишке коротеньком
от Москвошвея,
в шапчонке, сбитой
к затылку со лба.
Вот так,
во всем и везде впереди, —
еще ты и слова не вымолвишь,
он шел, за собой увлекая ряды, —
Владимир Необходимович!
Но мысли о памятнике —
пустые;
что толку,
что чучело вымахнуть ввысь!
Пускай эти толпы
людские, густые

несут его силу,
движение
и мысль.

Пока поток
не устанет струиться,
пока не иссякнет
напор буревой,
он будет в глазах
двоиться, троиться,
в миллионные массы
внедряясь живой,

На Мексико-сити,
в ущельях Кавказа,
в протоках парижского сквозняка, —
он будет повсюду
в упор большеглазо,
строкою раскручиваясь, возникать!

И это —
не окаменелая глыба,
не бронзовой маски
условная ложь,
а вечная зыбь
человечьих улыбок,
сердец человеческих
вечная дрожь!

ЭПИЛОГ

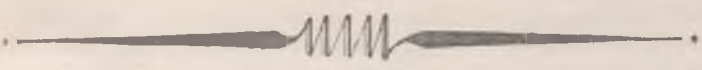
Сегодня
с дерев срываются листья,
и угол
меняет
земная ось,
и лес
как шуба становится лисья, —

продут
и вызолочен насквозь.
И в свите
этих порывов грубых,
что мусорный шлейф
подымают влача, —
писатель
задумывается о шубах
и прочем отребьи
с чужого плеча.
Писательство —
не искусство наживы,
и зря нашу жизнь
проверять рублем.
При этом
всплывут — которые лживы,
потонут —
кто в строчку до слез влюблен.

.
А впрочем,
к чему предъявлять обвинения, —
нужны организму
и нервы,
и слизь.
Страна была светом,
они были тенью,
а свету без тени
не обойтись.
Они существуют,
блудя и тревожа,
и если о них я теперь и пишу, —
крепка моя сила,
груба моя кожа, —
я землю
для будущего пашу.
Чтоб новая
радостная эпоха,
отборным зерном человеческим

густа, —
была от бурьяна
и чертополоха
обезопасена
и чиста.
Чтоб не было в ней
ни условий,
ни места
для липких лаксеев,
ханжей
и лжецов,
для льстивого слова,
трусливого жеста;
чтоб люди людей
узнавали в лицо.
Чтобы Маяковского
облик веселый
сквозь гущу веков
продирался всегда.
Им будет —
я знаю,
земли новоселы! —
какая-то названа
вами
звезда.

1936—1939



НИКОЛАЙ АСЕЕВ

Николай Николаевич Асеев родился 27 июня 1889 года в городе Льгове Курской области, в семье страхового агента Николая Николаевича Асеева. Мать писателя Елена Николаевна, урожденная Пинская, умерла молодой, когда мальчику не было еще восьми лет. Отец его вскоре женился вторично, оставив сына на попечении деда и бабки по матери. Дед Николай Павлович Пинский был страстным охотником и рыболовом; он занимал должность смотрителя земской больницы и оставил ее, не дослужившись до пенсии трех лет из-за своего увлечения охотой. Дед был неутомимый ходок и рассказчик. Он уходил из дому с собакой и ружьем на неделю и больше. Возвращался увешанный дичью, полный азарта и впечатлений от пережитого. Рассказы его были фантастичны, они расцветали причудливыми подробностями. Слушателем их был, главным образом, внук: между старым и малым установилась тесная дружба.

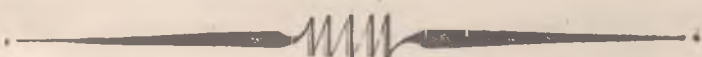
Бабка Варвара Степановна Пинская была в молодости крепостной, выкуплена из неволи дедам, влюбившимся в нее во время одного из своих охотничьих скитаний. Она много помнила из быта старой русской деревни.

Мальчик был отдан в Курское реальное училище, которое окончил в 1909 году. 1905 год был отмечен училищем забастовкой и демонстрациями, разогнанными казаками. По окончании училища Асеев поехал в Москву, где поступил в Коммерческий институт на экономическое отделение. Одновре-

менно посещал вольнослушателем лекции Московского университета по филологическому факультету. Стихи писать начал еще будучи в училище. В Москве познакомился с С. П. Бобровым, хорошо знавшим современную тем годам поэзию и руководившим начинаниями стихотворца. Образовался кружок «Лирика», с призрачной материальной базой, основанной на кредите в типографии Воронова. Затем этот же кружок переименовывается в более динамически звучащее — «Центрофуга».

Но вскоре Асеев встречается с Маяковским и оставляет все прежние знакомства, увлеченный своеобразизмом и характером и дарования своего нового друга. В 1915 году, призванный в армию в качестве рядового, Асеев попадает на австрийский фронт. В том же году в Москве вышла первая книга стихов «Оксана». Февральская революция застает Асеева на фронте. Выбранный в полковой Совет солдатских депутатов в сентябре 1917 года, он вместе с эшелоном раненых сибиряков отправляется в Иркутск.

Проехав Иркутск, Читу и Харбин, Асеев с эшелоном докатился до Владивостока. Явившись в Совет, он получил на первый раз направление — заведывать биржей труда. Затем пошел работать в местной газете, сначала выпускающим, позже в качестве фельетониста. Так началось самостоятельное существование. Интервенция, гражданская война — дали сильные впечатления для поэзии. Книжка «Бомба» была сожжена интервентами вместе с разгромленной типографией. В 1920 году Асеев был вызван в Москву телеграммой А. В. Луначарского. Возобновившаяся дружба и тесное сотрудничество с В. В. Маяковским, работа во множестве журналов и газет заполнили жизнь до отказа. За это время и написано большинство произведений, создавших известность писателю. После смерти Маяковского Асеевым была написана поэма, посвященная его памяти, удостоенная Сталинской премии. Собрание стихов выходило двумя изданиями — в 1928 и 1932 гг. Отдельные книги стихов выходили много раз в количестве свыше шестидесяти изданий. В 1940 году Асеев награжден орденом Ленина.



СОДЕРЖАНИЕ

ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Кумач	7
Первомайский гимн	9
С неба полуденного	11
Двадцать шесть	13
Свердловская буря	19
Реквием	24
Русская сказка	26
Городу	31
Время лучших	34
Новая кремлевская стена	35
Семнадцатый встает	38
Днепр	43
Днипробуд	45
Уличные стихи	49
Чудеса	51
Гремит Димитров	56
Большой читатель	60
Вспна страны	64
Кавказ	67
Въезд	72
Хор вершин	76

Барьер	77
Волоколамск	81
18 марта	84
Большевичкам мира	87
Встреча	90
Рука об руку.	93
О словах	95

ДЕЛА ЖИВУВШИХ ДНЕЙ

Декабристы	99
Декабрьский туман	102
Чернышевский	104

ГРОЗА НАД МИРОМ

Новогодье	109
Во весь рост	112
Полет пуль	116
Когда над фронтом	119
Ветер дик и груб	121
Ясная Поляна	123
Врагам	125
Большой человек	127
Наши люди	129
Эхо славы	132
Снова в Донбассе	134
Не тупись, наша сталь	136
Севастополь	139
Смоленск: взяли!	141
Наши идут вперед	143
В последний час	146
Это медленный рассказ	148
День победы	151
Разбита и прикончена	154
Песня славы	156
У Ленинского мавзолея	157
Всенародный кандидат	159

СТИХИ О МОЛОДОСТИ

Не за силу, не за качество.	163
Заплыв	165
Весенняя песня	168
Эстафета	170
Крылья времени	172
Топор, пила и лопата	175
Дети на танке	177

СТИХИ О МАЯКОВСКОМ

Последний разговор	183
Маяковский начинается	192
Н. Асеев (биографическая справка)	315

Профессор
Р С Х М СССР

Заводской комитет
завода № 512



23/4 61

Редактор С. Трегуб

Художник И. Николаевцев. Технический редактор Р. Сквирская. А 01040. Подписано к печати 13 IV-46 г. Печ. л. 20,0, Уч.-изд. л. 18,02, Авт. л. 17,53. Тираж 25 000. Цена 14 р. 00. Заказ № 1427. Типография № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета

10 12/10

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллеч. пред. ВЫ 134

26/v 207

16/iii 407

8/v 161

18/i 1201

3/x 1053

15/x 529

